

Т 772439

ВИКТОР ПУЛЬКИН

# ВЕПСКИЕ НАПЕВЫ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «КАРЕЛИЯ»  
ПЕТРОЗАВОДСК 1973



# Виктор Пулькин

Оформление  
и рисунки  
автора





# Вепские напевы

Этнографические  
новеллы



772439

*Взгляните на карту Карелии. Очертания этой суровой северной земли напоминают облик вековечного кантеле.*

*Скошенный гриф его обрамлен узором прибоя полярного моря, нижний край лежит на гранитах ладожских берегов, на порфировых скалах Прионежья.*

*Звонкоголосые речки — струны этого кантеле. Новые люди в новое время натянули на лик древней земли другие струны. Слышите торжественную песнь серебрякованной струны? Это поет о героике новых дней Беломорско-Балтийский канал, слышна песня путей стремительных поездов, линий электропередач.*

*Что песня без певца? Что поле без пахаря? Голос Карелии — хор голосов народов, населяющих эту землю. И с голосами карел, с песней русских Поморья, Пудожского края, Заонежья сливается голос одного из самых малых народов нашей большой Родины — голос вепсов, что живут среди лесов и скал южного Прионежья.*





— Так ведь мы самая чудь и есть!

Белоголовый дедушка повернул кран самовара; шибко побежал в стакан кипяток.

...Так же, за неизменным северным чаем, записывал я предания в Заонежье и Поморье, Пудожском крае и Каргополье. И всюду слышаны легенды о «чуди белоглазой» — то робких подземных жителях, то свирепых воинственных великанах.

С чудью, по преданию, встречался князь Вячеслав Белозерский, легендарный основатель Каргополя. Поморы рассказывали мне о якобы недавних нападениях чуди, вооруженной луками и стрелами с костяными наконечниками. А тут ласковый стариченка подвигает стакан крепкого чая: «Мы, велсы, — чудь... Малины с молоком хочешь?»

Название этого маленького народа меня взволновало. Еще бы: ни один народ на севере не называет себя так, а рассказывают о чуди не только русские северяне, но и саамы, карелы.

«Так русское население могло назвать позднее X—XI веков летописную весь», — считает лингвист

Н. И. Богданов. Чудью для русских были все иноязычные народы тогда еще малоосвоенного Севера — народы легендарные и в то же время реально существующие. «Не это ли является причиной исчезновения веси и появления чуди в районе Белозерья?» — предполагает ученый. В самом деле, после X века этноним «весь» исчезает со страниц летописей.

В своей брошюре «Происхождение карельского народа» известный лингвист член-корреспондент Академии Наук СССР Д. В. Бубрих писал в 1941 году: «Сто с небольшим лет тому назад знали только, что на первых страницах летописи упоминается некое племя весь. Об этом племени судили так же, как например, о древнем племени меря: было, мол, но растворилось среди русских. Однако академик А. М. Шёгрэн открыл продолжателей веси в лице вепсов — маленького народа, обитающего частью к югу от реки Свири, а частью к северу от нее по берегу Онежского озера».

Ныне доказано\*, что предками вепсов был народ, о котором русская Троицкая летопись сообщает: «На Белезере седять Весь». Весь упоминается, когда речь идет о составе племен, населяющих древнюю Русь. Вепские воины участвовали в походах русских князей; в «Повести временных лет» под 882 годом сообщается, что предки вепсов участвовали в походе под стягами князя Олега. «Поиде Олег, поим воя многи, варяги, чудь, словени, мерю, весь, кривичи...»

Упоминания о веси встречаются и в сочинениях иностранных путешественников. Более тысячи лет тому назад в стране волжских булгар побывал арабский путешественник Ахмед ибн Фадлан. «Царь булгарский сказал мне, — писал он в 921/22 годах, — что на расстоянии трех месяцев пути есть народ, называемый вису... У них (булгаров. — Авт.) много купцов, которые

---

\* В. В. Пименов. Вепсы. «Наука», 1965.

отправляются в страну, называемую Вису, и привозят соболей и черных лисиц». Потом о вису напишут другие арабские путешественники: ал-Бируни, ал-Марвази и, наконец, уже в XII веке Абу-Хамид ал-Гарнати в книге «Путешествия», которая совсем недавно переведена на русский язык. Девятьсот лет тому назад появились первые сведения о веси в западноевропейской литературе; вот что писал Адам Бременский: «Люди эти от рождения седовласы, а защищают их страну свирепые собаки, которых там очень много».

...Автобус плавно притормозил на улице большого села. «Приехали. Шелтозеро», — объявил шофер. Я вскинул на плечи рюкзак, двинулся к выходу. Напротив остановки в пыльной придорожной траве стоял мальчонка лет пяти с белой-белой головой, синими-синими глазами. Когда я протянул руку, чтобы погладить эту сызмала «седую» головенку, с крыльца ближнего дома соскочил большой черный пес и, глухо ворча, подошел ко мне...

Позади осталась дорога в глубь страны вепсов, потомков легендарной веси, — все вверх по уступам огромной пирамиды Шокшинской возвышенности, что на водоразделе Ладоги и Онеги. Здесь единственное в мире месторождение малиновых кварцитов. Гудящее под колесами шоссе алело, как разостланное на десятки километров полотнище кумача. На обочинах, в сырой тьме елей, в зеленых кострах орешников полыхали скалы, горели валуны, угольками тлели малые камни. Недаром вепсы и поныне славятся как шлифовщики камня; были среди них и резчики по камню — «словорубы».

Вепская деревня — это гул тесового настила под ногами, высокие дома с челом в седине резьбы, непохожей на декор домов в других районах Севера; это



морозный блеск железной поковки — дверных колец с гранеными стукальцами, жиковин, накладных замков.

Вепсы невысоки ростом, светловолосы и голубоглазы; старики ласковы и любопытны, как дети, а застенчивые ребятишки ловят каждое слово, когда дед или бабушка говорят о таинственном, как сказка, легендарном прошлом.

Вепский язык сродни карельскому — особенно южным его говорам. Предания, былички рассказаны мне по-русски, как говорят в русских деревнях Прионежья. Особенности этого говора сохранены и в рассказах, написанных по мотивам вепского фольклора.



# Сказания



## СЛОВО О БАРДЕ И АЙРЕ

Когда журавли летят высоко в небе и кричат «клинг-клинг», грустно людям.

Дедушко наш был старый, он забыл счет своим годам, но про журавлей — знал.

— Давным-давно, — говорил он, — деды наших дедов пахали землю помягче этой, солнце над ними было поласковей. Хорошо родилась рожь на песчаных запольях, репа на пожогах, горох да бобы на глинистых местах. Летом — уследи! — кувшинки поднимаются на воду в речках: пора сеять ячмень на раскорчеванных и выжженных загодя лесных нивках. Через шесть недель запирай ячмень обратно в закрома. А там и кузнечик застрекотал — рожь поспела; овес усы отрастил — осень близко...

Совсем доспел в то давнее лето ячмень. Тихо было: ни огненный пал, ни боевая конница не губили нивья. Усатый, дородный качался хлеб. Но случилась беда. Пришел мужик на поле — примяты колосья. Рассердился: «Я лес корчевал, пожню жег, я нивья пахал... Словолю вора!» В ночь пошел на поле дозором: топор и веревку взял, пошел с сыном.

Заря вечерняя сокрылась. Сумерки пали. Рыба у берегов повернулась к озеру головой, к берегу хвостом. Полночь!

Тут плесканье крыльев раздалось, щелканье клювов. Села на ниву станица журавлей — сильные, большие птицы. Притихли мужик с мальчишкой, затаились.

Стали журавли по полю гулять, стали ячмень кле-  
вать; крыльями плещут, ноги вскидывают — хоровод  
ведут. Нагулялись, наклевались — головы под крыло;  
спят! У мужика страх прошел: осерчал он. Кидает сы-  
ну конец веревки: «Держи, сынок, крепко!» Держит  
сын. Отец привязал за ногу одного журавля, другого,  
третьего... А седьмой-то, старый вожак, — он не спал!  
Только мужик привязал его — крыльями схлопнул,  
клювом щелкнул: «Просыпайтесь, пробуждайтесь!»  
Проснулись журавли, взмахнули крыльями... Кинулся  
было отец к сыну, да куда там! Крепко держал маль-  
чик веревку, уж в облаках несли его журавли. В дру-  
гой руке — пучок ячменных колосьев: вырвал из зем-  
ли, как стали поднимать его птицы.

Глядит парнечок-то этот, горемычна голова: леса  
все темней, пожни — меньше. Все быстрее машут  
крыльями журавли — несут его в подсиверну сторону.

Вот завиднелось внизу желтое морошковое болото,  
заалело клюквенное. Пали птицы наземь, на длинных  
ногах зашагали меж кочек. Отвязал паренек веревку;  
топор у него был за поясом, нож в ножнах. На нонешню  
Сороковую гору взошел, там стало его жительство. Ру-  
кодельный парень, хоть и маленькой еще. (Ну да яч-  
мень со всходов, ребенок сызмала виден: какой родит-  
ся, такой будет). Выстроил, обыкновенно, избу себе. То-  
пором дерево срубил, веревкой обмотает, выволочит. От  
тех колосьев, что вырвал, за родную землю держась,  
он поле завел; на другой год вдвое больше засеял. Еще  
мальчишкой был — у него борода взошла, вот што!  
Борода — она от забот растет, не от году-возрасту. Толь-  
ко худо — один как перст.

Лебеди потянулись на юг... Верная примета: зима  
скоро. И зиму скоротал.

Вот раз пошел парень к реке — умыться после рабо-  
ты. Глядит, а к берегу валеk прибило, каким бабы белье  
колотят, когда его полощут, — «хумбар» по-нашему. От-

куда ему взяться? Длинненькой такой, не то хумбар, не то весельшко, — «айр»...

Пошел парень по реке; к самому устью, к Онего пришел. Видит, у берега прялица под резной лопаской, будто легкий челнок под парусом, стоит покачивается. А на берегу девушка лен в воде мочит да треплет, мочит да треплет. Одежка на ней легкая, льняная. По одежке — алые узоры.

А на парне этом сорочка нежных беличьих мехов, поверх — медвежья шкура. Подошел он к ней, на плечи медвежий плащ накиннул. Она ему — рубаху льняную алыми узорами вышила.

...Первые ижанд и эмаг<sup>1</sup>, первая семья, стали жить рука в руку, душа в душу.

Даром что слова сказать друг дружке не могут.

На красивую жену глядеть хорошо, с умной жить хорошо. Парню дивья прищаливать жить: у него молодка и красива, и умна. Жена прядет — так и муж не пляшет: то на охоте, то пашет.

А жили они на том самом месте, где он нашел ее... Уж ты догадался — там, где нынешнее Шелтозеро, на берегу Онего.

...Когда осенью летят журавли с печальным кликом «клинг-клинг», задумывались, сутулясь, старики. Память о старопрежней родине, говорят, приходит к человеку в старости. Раньше, сказывают старики, вепсы жили не здесь, а там — и машут рукой на юго-восток.

## ВЕЛЛЬ

Сказывают, сын родился у молодых. Положили его в берестяную люльку. Отец кованую застежку отстегнул, медвежьей шкуру с плеч скинул — завернуть маль-

---

<sup>1</sup> Хозяин и хозяйка.

чишку. Он лосиной кожи пояс снял — перевязать мальчишку. Малыш день полежал и другой день. Потянулся — разорвал лосиный пояс, вышел из медвежьей шкуры. На ноги встал, как лосенок, а вскоре уж отцу с матерью помогать начал. Мать сшила ему льняную рубашку, вышила узорами, цветами и травами, птицами и зверями. Узоры его от зверя сберегали; знал он голоса птиц, растений, лесных духов.

Отец пел сыну охотничьи песни, мать свои — нежные, ласковые. Но сын молчал. Не было у него языка, такой родился.

Подпоясался отец, отправился на север, к карельским колдунам; когда вернулся, знал что делать.

Есть летом день, когда зацветает Лесной Цветок. Взял с собой сына отец, пошел в лес — так далеко, чтобы охотничьим чутким ухом не услышать дальше пение петуха, в глушь ушел. Ночью с заклинаниями искал Лесной Цветок; нашел, вырыл корень. Сыну дал.

Только поднес сын волшебный корень ко рту — пророс корень, стал языком. Заговорил, запел мальчишка. Удивился отец: то не родник ли поет в ночи? Не Онего ли плещет? Поднял голову: не журавли ли, не лебеди ли кличут? — схожа с голосами леса речь сына.

— Как это зовут? Как то?.. — указывали отец и мать на быстрого лося, белую ромашку, на вечернюю звезду в небе, лосося в стремнине реки. Все называл сын. Всему давал имя. Звонкие ковал слова!

Он имя отцу дал — Вард<sup>1</sup>, потому что с детства носил отец длинную, шелковистую бороду.

Имя матери дал — Айра<sup>2</sup>. По малому весельишкувальку нашел ее когда-то Бард.

---

<sup>1</sup> Б а р д — борода.

<sup>2</sup> А й р — весло.

Он братьев учил, сестер; научил говорить внуков, правнуков. Песни, сказки придумывал, чтобы дети и взрослые помнили начало своего народа, чтобы чисто говорили, ясно, как в сказках говорят, как поют в песнях.

Его спросили: как называть нам тебя? Он сказал: Велль<sup>1</sup>.

## РОЖДЕНИЕ ДЕРЕВЯННОГО ОГНЯ

Он еще маленький был, говорить не мог. Бард ушел с женой в лес, на нивья. Велел сыну огонь стеречь.

В старину, говорят, огонь добывали от молнии. Лесина загорится — берут головешку, домой несут. День и ночь подкладывают в печь смолье, дрова; раздувают пламя. Велль — он заигрался; лук сделал из черемуховой палки, стрелы пускал. Домой пришел, видит: огонь умер.

Что станешь делать? Осень была, грозы долго ждать — до весны. Пришли Бард и Айра — печь холодная. Они сели на лавку, руки опустили.

— Теперь помирать будем...

Велль взял черемуховый лук, лосиную кость взял; досочку сосновую выстругал. Укрепил лук между двух досок. С одной стороны — перед луком — он сухую доску поставил, с другой — кость. Тетивой натуго обмотал веретенце — как стрелу положил его на древко лука, концом туго к сухой планке приложил; другой конец — наружу торчит, лежит на лосиной кости.

Отец да мать глядят, думают: глупой ребенок, он играть ладит.

Велль веретено закрутил — раз, другой, третий... Он веретено закрутит — тетива ту же навьется, обратно ве-

---

<sup>1</sup> Велль — брат.

ретено раскручивается, жужжит. Да вдруг паленым запахло! Дерево нагрелось, под кончиком веретена вспыхнуло. Поднес Велль бересту — загорелась береста! Радость была у Барда и Айры: смерти от холода избыли.

Поднес Бард руку к огню — настоящий! А у него рука разрублена была. Искра от деревянного огня и упала. На глазах рука зажила, вот што!

...Это еще на нашей памяти было — огонь кресалом каменным высекали; потом спички продавать стали. А было, деревянный огонь тоже делали — людей лечили, скот пользовали<sup>1</sup>.

Потом Велль вырезал из ели кантеле; заиграл, задумался и сказал: вот кантеле. Лучше мне ничего не придумать. Остальное придумают и дадут вам другие. И, усталый от множества дел, умер.

Умер он весной, как весной родился; вокруг него стояли дети, внуки, правнуки в белой одежде из льна, и Велль лежал, как в молодом березовом лесу.

На молодых березах нет бересты — только тонкая нежная кожица. Мягка и гладка береста на березах от 15 до 25 лет. И никуда не годится ломкая береста берез-старух.

Пошли вепсы в лес: не на болото, не на золото полян ступили — в тенистую чащу пошли. Обнимали белые березы правой рукой; так по обычаю измеряли возраст красавиц-берез. С них снимали прочные берестяные «скалья», надрезая стволы острым ножом, отгибая широкие куски бересты черемуховой спицей. Плакали березы светлой девичьей слезой, но не плакали старопрежние вепсы, готовя Веллю смертную колыбель, шивая просторное берестяное ложе праотца черемуховыми прутьями.

---

<sup>1</sup> Образец вепского приспособления для добывания «деревянного огня» имеется в Ленинградском музее этнографии народов СССР.



Когда-то пела, баюкая Велля в детской колыбели, мать его, Айра. Теперь, как водилось у предков, пели ему, лежащему, правнуки.

Мужчины ходили вокруг ложа, щелкая клювами деревянных журавлей; плясали в берестяных масках с подвязанными бородами из кудели — напоминали о делах стародавнего Барда, бородатого мальчика. Девушки водили хоровод, танцуя с прялками и вальками. Словно десятки красавиц вновь приплывали к берегам Онего на прялках, как приплыла когда-то Айра... Юноши сражались с сильным мужчиной, наряженным в медвежью шкуру, а потом, одолев его, заворачивались в шкуру сами и, напоминая о первом подвиге Велля, разрывали лосиные ремни, выходя из мохнатой звериной шкуры.

Сыновья, внуки Велля ударили в струны кантеле, запели сложенные им песни, склоняясь к ложу, украшенному лесными цветами.

Румянец загорелся на лице навеки уснувшего Велля. Утешился он, сходя в могилу: помнят сыновья и внуки начало своего народа.

Поныне помнят!

## «Я ВИДЕЛ ИХ...»

Давным-давно стоял на Волге в красе и славе город Булгар. Среди арабских путешественников, приезжавших в этот северный мусульманский центр, был мавр из Андалузии Абу-Хамид ал-Гарнати.

Он оставил книгу<sup>1</sup>, написанную восемьсот лет назад в столице багдадских халифов, в которой рассказал о встречах с предками современных вепсов. Читая ее, я, казалось, видел автора и его далекое время.

---

<sup>1</sup> Путешествия Абу-Хамида ал-Гарнати. М., «Наука», 1971.

...Почтенный гость великого везира Абу-али-Музаф-фара ибн Хубайры, старик, обитающий в отдаленных покоях везира, тихо шел по глинистому берегу Тигра. Чернокожий юноша нес за ним влажный пучок тростника. Тонкая, красноватая тростинка качалась в руке Абу-Хамида.

Абу-Хамид! В память о первенце осталось только это гордое имя — отец Хамида. Сына задержали керали Башкирды<sup>1</sup> в залог того, что ал-Гарнати вернется к уграм, будет служить их королю. Но старый путешественник не любил возвращаться в те места, где уже бывал. Даже домой, в родную Гренаду, он не вернулся и хадж в Мекку совершил один только раз — в память об этом на голове старого мавра белеет чалма, и старики на базарах почтительно называют его хаджи.

Ал-Гарнати вынул из складок старого халата блеснувший узким лезвием клинок, давний спутник в странствиях. Его дамасская сталь когда-то легко рассекала волосяной аркан, которым скрутили Абу-Хамида нечестивые гурджи<sup>2</sup> в горах Кавказа, и мавр спасся от величайшего горя — рабства. Этим ножом он разрезал баранину в путешествиях, а в пустыне близ Самарканда выпустил густую кровь своего верблюда, чтобы не умереть от жажды. Арабской надписи на клинке дивилась, передавая из рук в руки, русская дружина на пиру у киевского князя. Острый, узкий клинок годился и для того, чтобы разрезать твердый белый мед и нежные яблоки в деревнях под Рязанью, и для того, чтобы затачивать калям, наставляя искусству каллиграфии молодежь в медресе благородной Бухары.

В струях Тигра раздался всплеск, по воде побежали серебристые круги. Сопровождавший его раб

---

<sup>1</sup> Король Венгрии.

<sup>2</sup> Г у р д ж и — грузины.

остановился. Рыба играет... Он вспомнил родное племя в Африке, игры на берегу реки.

Остановился и старик. Он вспомнил далекую Славянскую реку<sup>1</sup>. Прекрасны годы молодости, дерзновенна зрелость; старость хороша воспоминаниями. Житель дальних покоев везира рассказывал чернокожему рабу то, что готовился изложить в книге.

— И в этой реке русов есть такие виды рыб, подобных которым я вообще не видел на свете! Одну такую рыбу может снести только сильный мужчина. Есть и такой вид рыбы, что ее может снести только верблюд. Эту рыбу пекут и кладут в нее рис, и становится она вкуснее жирной баранины и курятины. И вялят ее ломтями, и становится она лучше всякого на свете вяленого мяса, цвета красного, просвечивающего янтая; ее едят с хлебом, как она есть, не нужно ни варить, ни жарить.

Ал-Гарнати сделал легкое, неуловимое движение — и пересеченный острым клинком тростник обрел благородных линий острие. Может быть, это последний твой калям, Абу-Хамид...

Придя в свои покои, он сел на персидский ковер, привычно положив бумагу на колено выставленной вперед ноги.

Бумага — смуглая, как та давняя грузинка, что помогла бежать ему из плена. Чернила из сажи, вишневой камеди, чернильных орешков и каменных квасцов бархатисты.

И пишет ал-Гарнати давно обдуманное слово, рукописи начало. «Просили меня люди науки и веры, чтобы я рассказал им о том, что видел из чудес в странах и морях и какие чудеса считаю действительными...»

---

<sup>1</sup> Славянской рекой арабские путешественники называли Волгу с ее притоками.

Отсветы цветных стекол окна легли алыми, синими, желтыми пятнами на развернутый лист, украсив его причудливым орнаментом. Легкая арабская вязь вилась, следуя линиям тени.

Путешествуя, он бывал в землях христиан и огнепоклонников, у буддистов и мусульман-шиитов, а на Волге видел моление бурому медведю... Он, имам, осквернился дружбой и обрядом братания с многими неверными — но да будет благословенно все, что было!

Ал-Гарнати вспоминал, как в тяжелой шубе из водяного соболя, что водится в Славянской реке и высоко ценится в странах халифата, он шел по скрипящему белому покрову, который засыпает в Булгаре землю зимой. Голос муэдзина был резок и лишен музыкальности, он раздражал, как крик ишака и прерывался кашлем, как лай шакала. Абу-Хамид мерз и думал о судьбе, которая закинула его в край, где даже муллы нетвердо знают обязательные для всякого правоверного стихи Корана.

Скрип санных полозьев прозвучал тогда для путешественника, как зов трубы для боевого коня. По улице Булгара меж бревенчатых домов и каменных мечетей двигался обоз. Рядом с высокими возами, перетянутыми гнетами из заиндевелых еловых жердей (пушнину везут! — догадался мавр), шагали крепкие краснолицые люди; старики — в бобровых шапках, в развевающихся плащах из звериных шкур, заколотых на груди или на плечах коваными застежками-фибулами. Из-под меха виднелась полотняная одежда; у правого бедра покачивались ножи, а у левого — прямые, обоюдоострые мечи с крестовидной рукоятью, боевые клинки ференгов<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Клинки ференгов — европейские мечи.



Из мечети, подобрав полы, бежали правоверные на торговую площадь, и муэдзин бежал со всеми, спустившись с невысокого минарета.

— Кто они?— спросил Абу-Хамид, указывая на обоз.

— Люди Вису, имам!

И Абу-Хамид пропустил тогда намаз, любуясь раскинутыми на снегу пушистыми мехами, слушая звон мечей. Ибо за беличьи, бобровые шкуры, водяного соболя и лесного, за мохнатые медвежьи шубы брали люди Вису не только диргемы и хлеб, но и мечи. Клинки эти без полировки и рукоятей, четыре меча за динар; покупают их жители Булгара в Дербенте и Баку.

«И закаливают их большой закалкой, так, что когда подвешивают клинок за нитку и ударяют, то звенит. И это те мечи, которые годятся для них; и покупают за них бобров,— пишет старик, вспоминая слышанное в далеком заснеженном Булгаре.— А жители Вису отправляются с этими мечами в страну поблизости от моря Мраков, и продают эти мечи у них за соболи шкурки».

Ал-Гарнати ходил меж возами, проводя рукой по серебристым шкуркам, волнуясь от звуков незнакомой речи, чем-то отдаленно напоминающей напевную речь уг-



ров на Дунае. В эти голоса влился вдруг и зазвучал весенним ручейком девичий голос.

Девушка из Вису была румяна и голубоглаза, из-под остроконечного полотняного колпака, натуго охватывающего голову, выбивалась серебристая прядь волос. Колоколообразная юбка открывала крепкие ноги в кожаной обуви; на пестром шерстяном поясе позванивали подвески в виде утиных лапок; на шее — бусы из сердолика, горного хрусталя, на руках — пластинчатые браслеты. Убрана она была, как госпожа, но лицо открыто, как у рабыни. Ал-Гарнати забыл о дорогих мехах. Мавр нащупал под шубой, на поясе, мешочек с золотыми монетами и, схватив девушку за руку, потащил ее к бородачу, караван-баши из земли Вису. Он бросил перед ним мешочек с золотом, скинул шубу и даже дорогой дамасский кинжал. Житель дальней страны Вису смотрел и красное лицо его становилось багровым.

...Абу-Хамид ал-Гарнати так и не сумел на этот раз купить рабыню. Домой его принесли болгарские воины. Тело тяжело болело. Но перед глазами его смеялась и напевала недоступная девушка из страны Вису.

Булгарский шейх пришел к Абу-Хамиду, чтобы утешить его.



Путешественник прервал поток красноречия шейха, призывавшего громы и молнии на неверных, поднявших руку на ученейшего хаджи, который хотел почтить жителя Вису покупкой его дочери.

— Расскажи мне о народе Вису!— прервал разгневанного шейха ал-Гарнати, придвинув к себе свиток бумаги и калям.

Услышанное вошло в книгу ал-Гарнати:

«...Жителям Вису запрещено летом вступать в страну Булгар, потому что когда в эти области вступает кто-нибудь из них, даже в самую сильную жару, то воздух и вода холодеют, как зимой, и у людей гибнут посевы. Я видел их в Булгаре во время зимы: красного цвета, с голубыми глазами, волосы их белы, как лен, и в такой холод они носят льняные одежды. А на некоторых из них шубы из превосходных шкурок бобров, мех этих бобров повернут наружу. И пьют они ячменный напиток, кислый, как уксус, он подходит им из-за горячести их темперамента, объясняющейся тем, что они едят бобровое и беличье мясо и мед».

...Луна висела над внутренним двором дома везира, когда Абу-Хамид отложил калям.

— Гулам!— разбудил он юношу-раба.— Пойди, нарви мне слив в саду везира. Когда вернешься, я расскажу тебе о чудесах моей далекой родины, о семи спящих джинах и медном дворце Сулеймана.

Гулам опустил голову и не тронулся с места. За причуды старого мавра бьют его, Гулама...

— Пойди, юноша,— тихо попросил старик.— И я отдам тебе свой дамасский кинжал, и ты уйдешь из неволи и увидишь дальние страны, как видел их я.

Негр скользнул между белых колонн, резко освещенных луной. Старик вынул старый кинжал, в последний раз любуясь замысловатой арабской вязью, сделанной когда-то на клинке по его просьбе в Дамаске:

«Непознанное познается в пути!»



**Бывальщина**





...Подозрительно быстро заснули ребяташки.

Мы — несколько стариков и я — сумерничаем. Быстро наливаются синевой окна. Самое время перевести разговор от обычной нескончаемой беседы стариков о житье-бытье на былички, демонологические народные рассказы.

Вепские водяные, лешие, домовые — языческое воплощение воды, леса, жилища — существа добрые, иногда простоватые. Они помогают человеку и порой сами нуждаются в помощи. Языческие, пантеистические представления сохранились у вепсов в первозданном, древнем обличье, не искаженном представлениями христианской эпохи о «нечистой силе».

— А про лешего у вас что-нибудь рассказывают? — осторожно закидываю я фольклористскую «удочку».

— У нас его Метц-ижанд зовут! — оживает столетний дед. Отодвигается ситцевый полог кровати; гроздь белых головок наостряет уши, блестит глазенками. Подсаживаются ближе старики.

## ПОЖНЯ РУДАНГА

Пошел мужик себе новую пожню чистить. Рубит да корчует, корчует да рубит. Легкое ли дело дикий ур расчищать! Поспрашивай у стариков, каково!

Глядь: идет Метц-ижанд. Тьфу, напасть!

— Сядем, что ли! — леший говорит. — Послушался бы ты меня...

— Ну, поговорим — может и послушаюсь!

— Тойне-поль<sup>1</sup>, понимаешь, три дня уж не разродится. Хоть бы жена твоя, бабьим делом, помогла! Ведь у меня трое лешачонков, маленькие; что ж, сиротами останутся...

— Да ей неколи; я валю дерева, она сучья обруба-ет... — опасается мужик в оказию попасть, сторожится.

— Будет у тебя пожня; метки положи — какую тебе пожню надобно. Бабе вели морошки набрать...

Ну, что станешь делать? Положил, конечно, метки-зарубки на осинах. Говорит жене: «Я домой правлюсь. Ты морошки набери в болоте! Мне-ка тоской морошки хочется...»

Зыркнула баба на мужика — а перечить не посмела. Умелась за морошкой. Сидит мужик дома — от окна к окну кидается. Ну просто мочи нет! Слышит, баба у ворот разливается, соседкам рассказывает: «И-их, милые мои, разбаловались нонь мужики, разбаловались! Мой-то полудня не доработал, какого-то гультая встрел, да мне и говорит: «Иди ты по ягоду, а я-де, сам большой барин, — домой пойду, на печь лягу!» — «Чтоб ты, — думаю, — оттуль свалился!» Ну, иду это. На болото прихожу, там — ма-а-мочки! — баба сидит какая-то, плачем плачет: ей пора приспела... Родимые мои!.. Я кошель-то в кусты, побабилла ей. «С какой деревни?» — спрашиваю. — «Дальняя!» — «Твой-то, — говорю, — тоже, небось, на печи лежит...» Конечно, поругали уж между собой и ейного мужика. А ребеночек родился — с лица темен, головенка, как копенка, лохматенька. Глянула она: «Весь, — говорит, — в отца, какой хорошенькой!» Встала да ушла. А я и морошки

---

<sup>1</sup> Тойне-поль — жена лешего.

успела набрать — желтенька, крупна; на выбор брала, всю спину обломала!»

— Вот это ты, баба, врешь! — муж-то возглашает. — Кошель-то уж полный был, как ты его взяла...

— А ты откуда знаешь!?

...Ночью мужик худо спал. Мается, думает: сдержит ли слово Метц-ижанд, нет ли?

Пришел — поле чистое между метами, будто никогда леса не бывало; трава высокая. Только береза осталась, под которой леший с мужиком беседовали; с нее птица глядит.

...Давно уж не бывал, не знаю, есть ли береза та нынче, нет ли? А пожня — есть. В Матвеевой Сельге будешь, спроси пожню Рудангу — всяк покажет.

Закончил дед свой рассказ. А Мария Ивановна, соседка, уж вижу: что-то вспомнила. Сидит, улыбается, сейчас заговорит.

## ПЕРВОЕ СЛОВО

— Мой сказ коротенькой! — начала она. — Я от мамы это слышала. Тоже про лешего.

Пошли на пожню. Там поляна меж каменными грядами, лощина. Собрались чай пить. А за водой надо на родник сбегать.

Чайник молодая взяла, пошла к роднику; обратно шла — заблудилась. Крикнула: «Э-эй!»

Будто ветер пронесся, деревья затрещали... Еще крикнула. Глядит, будто столб в шляпе белой с черными полями. Уж догадалась, кто! А если стал с лешим говорить, помни первое слово, какое сказал.

— Куда идешь?

— Да за водой пошла, да заблудилась, да...

Как он захохотал! «Надо было,— говорит,— на солнышко глянуть, эх, ты, сорока!» Вот хохочет, разливаются.

Рассердилась молодка, первое слово вспомнила:  
— Да за водой пошла!— говорит.

Он сильно захохотал, ладошка об ладошку хлопнул, да и улетел поди знай куда!

## МЫ — ПУСТОШКИНЫ

...На што тебе про старину и знать-то?— удивился крепкорукий, веселый старик, Дмитрий Иванович.— Старины не упомню, вот только если про свою фамилию рассказать?.. Дак это — можно.

Фамилия наша, извиняюсь, Пустошкины. Мне сколько раз говорили: «Сменяй фамилию, она тебе неподходящая! Ты работающей мужик, у тебя все есть». А я: «Эта фамилия мне от деда досталась, должен я ее и сам носить, и внучонкам передать. Это дед мой провинился, ему такое прозвание дали».

Он уж старой был. Лежал на печи. Бабка к соседям умелась, молодые пали в сани — на ярмарку улетели. Лежит дед, кряхтит, думу думает: «Никуда я теперь не гож — стар стал! А кабы была со мной старопрежняя девушка, с которой молодцевал, я бы — ого!»

Только подумал — на повети сова скричала; с печи кот спрыгнул — весь топорщится. Старой кот, глаза как плошки, лапой морду моет, мурлычет. Дед валенком на кота замахнулся: «Какого ты лешего гостей намываешь, какие тебе гости!»

Только откуда ни возьмись — плятятся через порог девки, бабы простоволосы. Они деда волочили, они его вертели, плясали с ним старопрежние кадтели. Повертели и бросили, лоханью принакрыли.



Молодые, невестки с сыновьями, вернулись с ярмарки — нет деда. Бабка с посиделок пришла — догадалась, лохань подняла: «Охти мне! Ты же умной, дедка, ты же знаешь: нельзя старому человеку вспоминать прежнее, молодое, да одному, в пустой избе!»

Про старопрежнее-то, видишь ты, говорили, можно вспоминать, ежели кому молодому пересказать, промеж себя старики про старо не говорят, а того больше — сам с собой, шутка ли...

Только дед все едино задумываться стал. Все, с кем он жил, померши, дак он и задумывался.

Было: вышел за порог вечером — вот как сейчас вечер был — холодной, росной. Дед на нивья пошел; недалеко нивка была. На меже старуха сидит. От росы трава бела — а она сидит.

— Уйди, бабушка, не сиди здесь. Ночь скоро! Зачем сидишь?

— Скоро, скоро узнаешь, зачем я здесь сажу! — Девкой обернулась, схлопнула в ладоши, улетела. Дед догадался: видно, опять судьба приходила. Он уж и в первой раз видел: была меж простоволосыми бабами одна, с какой он молодой гулял. И опять она — с лица схожа очень. Судьба!

Дед побелел, зубы выпали, стал совсем старик: «За мной уж судьба приходила, дак...» Он хозяйству голова был; тут ото всего отошел, на печи лежал. Тогда-то у нас все и запустошилось. Дождь велик пал, водяная мельница была — поломало, унесло. Дом от молнии занялся, ребенок в избе сгорел. Мы не в этой, в другой деревне жили. Мы сюда пришли нову избу рубить.

— Которы это строятся?— про нас спрашивают.

— Пустошкины — у которых все запустошилось!— Пошла эта фамилия нам в род.

После беседы дед Пустошкин повел меня в свой сад. Спускаясь по крутой лестнице дома, рассказывал:

— Невестка в городе у меня есть, бедовая такая: как лето, она сейчас на юг угребается! Отдыхать ей желательно!

— Что там на юге нашла больно хорошего?— спросу.

— Там хоть яблочк поем и тебе привезу. Чемодан!

— Ты не вези чемодан яблочк, привези кулек семян, какие получше...

А я уж и сам, какое яблочко повкуснее, — семечки не выбрасываю. Зато теперь — вот!..

У Дмитрия Ивановича оказался целый ботанический сад. Здесь и яблони, выпестованные с семечка. Здесь и вишни, и слива... Стоят рядышком молодая липа, куст орешника, рябина; тысячью черных глаз смотрит пахучий куст смородины; рядом алеет малина, клубника. Есть здесь и крыжовник, а в уголке приютились кустики лесной брусники и куманики. Сад свой Дмитрий Иванович огораживал ольховым частоколом — так и колья ольховые принялись, вот диво-то! — зазеленели...

— У меня не запустошится. Я думаю, как наперед жить, да чтоб от наших мест людей на сторону не тя-

нуло, на юг. У меня вишня по веснам цветет, яблони. Теперь внукам и я могу яблочко дать. Я знаю, когда старину вспоминать,— ежели вот молодой парень интересуется.

## ВЕЛИКАЯ ТОРА

Надтреснутые долбленные лодки-однодеревки («рухть!» — назвал их мне старичонка с коромыслом, сказал — как кашлянул; торопился, расплескивая воду); в зеленые холмы вросли столетние, цвета старого серебра избы; вокруг золотые, в кудрях перелесков, поля. Сюда, в Горнее Шелтозеро, я шел по знойным, пахнущим переспелой земляникой и молодой малиной проселкам.

— Чаю пить! — торжественно пригласил меня дед — тот, что пробегал с коромыслом. Я закрыл этюдник и пошел за стариком. В просторной избе попахивало запустением, зато на огромном семейном столе разводил пары крохотный самоварчик. В дедовых глазах детская светилась радость.

— Вижу: человек идет. Я за водой! Мой самовар скорее всякого другого в деревне поспекает! Литровый. Это моя Шултаполай! — хвастался разговорчивый дедушка. — По-русски сказать — Шутливая Пелагея... шутница.

Крохотному самоварчику в этот день досталось — кипел он, не переставая. Я протоптал кратчайший путь — по крапиве — на колодец; в избу постепенно набежало старого и молодого народу, тесно обсели по лавкам стол. Это здесь слышано было и про незапамятную старину — бородатого мальчика Барда, и про обыкновенную жизнь хозяина, девяностолетнего Георгия Федоровича Зайцева.

В холодных росистых сумерках, торопясь по теплой

пыли полевого проселка обратно в Шелтозеро, я вспоминал рассказы старого вепса, останавливался, записывал, шел дальше.

Вот один из этих рассказов.

— Дак ведь раньше-то в бога веровали!

Был, говорят, в Горнем крестьянин Калина. Сильно верующий! Ежели рыба в вершу попадается, хлеб родится хороший — иконам от него почет. Велит полотенцами их обвешать. На вербяные веточки ленточки повяжет. «За добро, — скажет Калина, — добром плачу! Но ежели что!..»

И правда. Чуть какая неувязка, он сейчас иконы на улицу выволочит, почнет их прутьем сечи, да с приговором: «Лихое — лихому! По собаке корм! Не знаешь чести — вот те палок двести!»

Аж запыхается, замается от усердия веры!

В страхе держал Калина святых — и жил справно.

Ему ли было с попом-то не сладить, хотя бы и с Ожегой!

Ожега был попище, сказать правду, здоровенное; в Шелтозере службу правил. А пожнями да лесовыми нивьями Калина с Ожегой — соседи.

Калина ночью косил: ночи-то светлы, видны. Жена сено сушить осталась, он домой пошел. Днем думает: «Дай схожу, ельник повырублю; маловата пожня-то!» Идет — слышит: ровно жеребьячье ржанье по лесу разносится: «Го-го-го!» Он шагу прибавил — видит: попище Ожега за бабой Калинкиной по стерне топает, медный крест по волосатому пузу хлопает, патлы по ветру метутся. Баба тоже хороша! Ей бы «караул» кричать, а она: «Хи-хи-хи!» Известно, баба без мужика, что репная нивка без изгороди...

Взял Калина лесину осинову, выстал перед Ожегой:

— Сгинь, пропади, нечистая сила!



— Да что ты! Да я п-пастырь!

— Видел я, как ты пас... По-лешачьему ухал! Сгинь, а то перекрещу!

И «перекрестил» лесиной-то.

«Сгинул» Ожега в кусты, в ольшаник да в малинник. Домой приволокся — в кровище. Его спрашивают: «Что да как — ох да ах!»

«Медведь напал!», — говорит. Но зло на Калину затаил.

Во святую Троицу народу на литургии в церкви множество. У правого клироса мужики и парни в нарядных кафтанах, в нашейных платках (вот мода была!), пестрыми кушаками домодельными подпоясаны. У левого клироса бабы в вышитых сорочках; на сорочках — сарафаны; на сарафанах — передники. Головы кокошниками жемчужными покрыты. Девки тут же. У них взгляд смелей. Передников нет. Коса на груди лежит. У них воля своя... Любуются они попом Ожегой, румяным, в золотой ризе. И на всю церковь возглашает поп с амвона, гулко, как в бочку: «Миром господу помолимся!.. Все-е, кроме Калинки!»

Встрепенулся Калина: «Тебе бы за это сейчас, не говоря худого слова — да в рожу; за волоса да в небеса! Ну, да собака и на свой хвост брешет! Пойдем, мужики! Больше мы сюда не уходи!»

Собирается Калина горнешелтозерский аж в сам Новгород Великий. Путь туда издавна ведом славутным вепским каменотесам. Положил в берестяной кошель клевцы да клинья. Будет делать Калинка жернова новгородцам. Станет ходить по церквам и монастырям, по теремам и черным избам. А там доберется и до наибольшего попа — митрополита: дело есть.

Весной привез Калинка из Новгорода грамоту: разрешено-де строить церковь в Горней Выставке Шелт-

озерско-Бережного погоста — нонешнем Горнем Шелтозере.

Долго не знали мужики, где поставить церковь. Потом надумали. Запрягли неезжаного жеребца, в постромки ему — бревно, гикнули... Помчался жеребец, на кряжик вымахнул — стал, как вкопанной, заржал, гривой всколыбнул — еще и ногой топнул: тут-де!

Только обмерили место для клетки, положили под углы по камню, под каждый камень по деньге да по петушьей косточке, только стали от угла до угла промерять веревочкой — не наперекосяк ли? — тут бабы заголосили.

Поднял Калина голову, видит: идет поп Ожега. Крест за спину закинут; в руках шельга; ряса подоткнута. Топочет, как волк кованой. За ним причт движется — дьякон, дьячок, пономарь — молчат; а сзади просвирня волочится, дак она нестерпимо даже орет: своих подбадривает.

Конешно, наши горнешелтозерские ребята топоры от греха в крапиву кинули. Просвирня думала — испугались, она пуще заголосила. Наши бабы ей отвечают, стараются тоже.

Тут Калина выступает:

— Что ругаться — не пора ли подраться? Не все же горлом — ино и колом!

Вот тут и началось...

Перво — два сильных могучих богатыря сцепились, Калина да Ожега. Ожега силен — тяжел, Калина легок — увертлив. Ожега медвежьим обычаем пошел. Воздух лапами молотит, глаза от злости закрыл! Да наткнулся Ожега на кулак, перевалил его Калина со щеки на щеку, постриг попа без ножниц, испек ему пирог во весь бок, завернул салазки... Таковой другой драки и старики не упомнят. Великая тора!<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Т о р а — драка, побойще.

А там уж мужики наши дьячку косицу оторвали — и чаю пить пошли. Дьякон давно уже по дороге к Шелтозеру пыль вздымал. За ним наш старичонко ветхой (моих лет) кинулся, клюкой помахивает, лаптями топчет. Дьякон оглянулся — погоня за им, а сколько мужиков — не видит! Пыль дак... Он сапожища скинул — легко бежать — радуется: мужики, мол, пока сапоги делят — отстанут. «Вот уж хитрой я!» — дьякон-то, собой довольной, ржет. А старичонко сел на обочину — переобувается, ворчит: «Вот-де, коли догнал бы!»

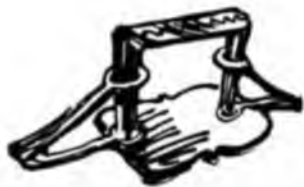
Уж просвирня у кумы своей в Горнем вторую дюжину кружек чаю пила — все Калина с Ожегой ратился. Поп уж было, изловчившись, дал Калине на мякину, сбил да поволок, ажно брызги в потолок... Наши мужики, попивши чаю, набежали, Ожегу повалили, отмолотили, по дороге к мельнице бросили. На другой день шелтозерски приехали — подобрали.

...А деревянная церковь, шатровая, «кораблем» была выстроена и стояла двести с лишним лет, пока не обветшала. Названа была — церковь Сретенья — встречи, значит. Не Ожеги с Калинкою встречи, конечно... Это только так смеялись.

Нынешню-то каменную церковь на памяти наших отцов выстроили, уж поди лет 120 ей. Да нет нонче того усердия в делах веры, нету...



## **Охотничьи премудрости**



...Высокий дом на крыже. Под крутой горкой, у самой речки — баня. Амбар, крохотная часовенка с предместьем. Обычная вепсская усадьба.

Возле дома я заметил старой работы детскую коляску с точеной оградкой кузова — «larsen telegeine» — и тут же принялся зарисовывать ее в путевой альбом. Голубоглазый малыш гулял рядом. Из-под ног его с писком разлетались цыплята.

Молодой мужчина вышел на крыльцо, но, взглянув на небо, встревоженный, ушел обратно в дом и тотчас вернулся с двустволкой. Он поднял ружье одной рукой и, почти не целясь, выстрелил. Во двор, прошумев по ветвям березы, упал большой серый коршун.

— Терве! — поздоровался со мной стрелок. — Вишь, над цыплятами кружил, разбойник.

Белоголовый малыш ясно и дружелюбно поглядывал на меня сквозь пелену порохового дыма, растянутую по двору. Моя тревога была напрасной: сын охотника даже не вздрогнул от внезапного выстрела.

Да, вепсы — настоящий лесной народ. У карел, у русских Поморья и Пудогги — исконных охотников, рыбаков — бытуют рассказы о легендарных силачах, удачливых охотниках. А нет ли таких рассказов у вепсов? Стал я спрашивать и об этом. Старики вспоминали охотничьи обряды, поверья. В деревне Горнее Шелтозеро я познакомился с охотником Иваном Дмитриевичем Федосеевым — особенно много услышано от него.

## «МЕДВЕЖЬЯ БОЛЕСТЬ»

Сильные могучие люди? И охотники? Как же...

Был пастух Ваган — родом с архангельской реки Ваги. Ну, Ваганом и звали. Он — из богатырей богатырь. Будылем травяным медведя зашиб!

А было так. Пас, обыкновенно, коров. Надо ему пройти к стаду по валежнику. Глядь, а на валежнике-то медведь лежит.

В другом разе Ваган скоренько бы это место обошел. А тут куда пойдешь — место кругом дикое, топкое. А к стаду надо! Коровы в болото забредут, дак мужики-хозяева не помилуют.

А медведь спит себе... Он с подветренной стороны, ему и знатья нету, что пастух мается, на одной ноге стоит, другую опустить опасается.

И пришел Ваган этот в отчаянность. Вырвал дудку — ребята брызгаться насосы из нее делают. Вырвал дудку аж с корнями. «Прощай, белый свет, но и медведю досажу напоследок», — думает. Да трах его корнем этим по крутой башке с размаху; сам сомлел.

Пал между кочек.

Ручкой-ножкой не колышет.

Очнулся Ваган, видит — лежит медведь, морда меж лап, издохши от медвежьей болести. Медведь, видишь ты, от неожиданной причины изумляется. Ему смерть приходит... как бы тебе это сказать, чтоб ты записать-то мог... от расстройства желудка!

Вагана-то все силачом потом звали. Силач-де, медведя дудкой убил. А место, где подвиг совершился, прозывается Путкин Ручей. Дудка-то, по-нашему, будет «путка».

Ну, это, конечно, в шутку говорено. Были у нас и настоящие силачи.

## ОХОТНИК ОНДРЕЙ

В деревне Сюръге жил у отца с матерью Ондрей. Он добрый был, а уж стеснительной! — чуть что — покраснеет, будто красная девка. При нем лишнего слова не скажи.

Раз на крещенский праздник разыгрались ребята-погодки. Толкнули его — не ворохнулся. Стоит, смеется. Стали с разбегу большие мужичинья толкать — стоит, как в землю врыт, глазами хлопает, сам себе удивляется. Он силы своей и меры не знал.

С Ошты до Вознесенья ехал богач на тройке. Тройкой гордился, конями чванился:

— Берегись, зашибу! Не сдержат! Разнесут добры кони.

Ондрей проходил мимо:

— Буде хочешь — сдержу!

Богач вот хохочет! Он вожжи опустил, он лошадей кнутом подхлестнул, одну ногу из-под полсти выпустил, концом сапога по снегу чертит:

— Охо-хо! Держи!

Схватил Ондрей сани за скобу. Богач остервенел: бьет по кореннику и раз, и другой, и третий. Держит тройку Ондрей, сам в дорогу по колено врос. Рассыпались сани — у него в руках только спинка санная осталась. Ондрей роспись рассматривает. Да тут из сугроба крик:

— Охти мне!

...Богача, вишь, выкинуло в синь-сугроб. Запуталась курица в отрепьях! Пришлось Ондрею тащить купца из сугроба. Тоже подвиг немалый: купчина-то был многопудовой!

Ондрей был завзятый охотник. Он на медведя идет — берет рогатину. Вепсская рогатина — копые

с граненым наконечником. У шейки копья — железцо, поперечина. А то, когда медведь сгребет, рогатиной его прободает насквозь — достанет зверь охотника. С таким копьем еще на нашей памяти старики ходили...<sup>1</sup> Да Ондрей-охотник — он медведя не колол, он шкуру не портил. Он перед зверем повинится: «Прости-ко, батюшко!» Да обоймет его, сзади копые перехватит обеими руками за медвежьим хребтом, принажмет — из зверя и дух вон!

Ондрей, случилось, лося убил. Не совсем убил — на смерть ранил.

Лось далеко бежал. Ондрей шел за ним на широких лыжах. День и другой день бежал по сугробам. Он такой был: поест как следует и уходит на много суток в лес. С собой еды не берет. Спит тут же в лесу. Нодью зажжет да и спит себе. Нодья — это такой костер: два бревна берут, подтесывают их, кладут одно на другое; щепки между бревнами оставляют. Смольем запалят. Целую ночь горит меж бревнами огонь. Охотник спит себе на хвое. Старики, которые охотники, еще похвалялись:

— Мы-де любим живой огонь, не запертый. Нам-де в избе маятно, душно, тошно.

И Ондрей так. Он день бежит, ночь спит, потом опять бежит. Лось тоже... Лежки его кровавые Ондрей видит. А за Кушлегой пошли неизвестные леса, чужие места.

Стал Ондрей лося настигать. За ближним ельником лось пал. Только вышел на поляну Ондрей — а уж около лося барин со сворой собак да дворовых охотников — шум, гам... Известно, барская охота — забава. Ружьца у них — замочки резные, кафтаны шитые, у поясов — рога золоченые. Ондрей — зипунишко

---

<sup>1</sup> Вепское копые охотника-медвежатника хранится в Ленинградском музее этнографии народов СССР.



старенькой, ружьишко веревкой перевязано — а не заробел.

— Мой лось! — говорит.

Осердился: барские холуи уж разделывать зверя стали.

Барину посмеяться желательно:

— Твой — дак бери! А буде всего не возьмешь, так значит, не твой.

Ондрей ляжку лосиную отрубил — в кошель заплечной поклат. Другую — туда же. Тушу на плечи вздел. Ему только бы на лыжи встать — уж он дома будет.

Барин, челядь барская — задубенели. Стоят, глядят, рты полы. Уж Ондрей далеко ушел — они очнулись. Кинулись холуи догонять Ондрея — пороху на полку ружей сыплот, псов натравливают... Как же, догонишь! Да и опасаются, не шибко бегут за Ондреем-то. Сила такая в человеке! Ведь зашибет!

...Домой Ондрей пришел — за стол сел. Мать калиток дает: он калитки любил. Его мера была — «съем, сколько в охалку влезет!» А у него ручишши, сам понимаешь! Соседи к нему на порог:

— Сказывают, лося добыл...

— На повети лежит. Поди, возьми сколь надо!

Даром мясо давал, все село кормил.

Ондрей идет на куницу, соболя, горностаюку добыть желает — капканы ставит. Умудрен был в этом деле. На белку капканы вбивал в ствол дерева. Наживлял грибами сушеными; шишки еловые на четыре части разрежет — поставит. А лучше всего беличий желудок высушить, в чистую тряпицу завернуть, да наживкой и положить... Это ежели на белку. На куницу надо в капкан сорочье гнездо сунуть, а то рыбы тухлой. Куницу брал и живьем. Собака загонит куничку в дупло — тут Ондрей ход ей сетью прикроет. Стукнет по

стволу — стрелой летит куница наружу — да в сеть и залетает. На выдру капкан в воду спускали... Всем премудростям этим научил Ондрей вепских мужиков. Доселе так охотимся — попадает!

Но хитрее всего ставил Ондрей капканы в снегу на пушного зверя. Он идет по деревне, на плече лопатка из березового дерева метра на полтора, по-настоящему сказать. На лопатке лапа зверя вырезана<sup>1</sup>. Подсмотрели старики из-за горелой лесины, как Ондрей капканы ставит.

Он ямку лопаткой выроет, капкан поставит, настожит. Потом его снегом присыплет, а поверх другой стороной лопатки следы наставит. Зверь хитер — Ондрей хитрее. Осторожной соболь бежит, думает: «Тут-де безопасной мне, зверю, ход. Другой-то бежал, и ничего! Сем-ко я пробегу!» Да и попадется. «Охти,— заверещит,— Ондрей перехитрил!» Да куда денешься...

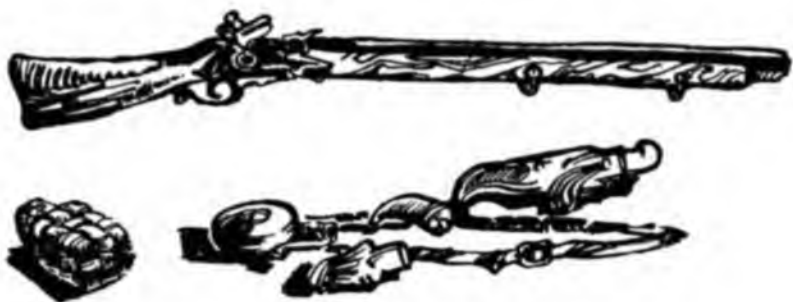
...Раз шел Ондрей на белку. Под ногами, под толстым льдом метались куницы. С осени высокая вода была, потом ударили морозы; встал между деревьями лед, подо льдом высокие хоромы. Воздух туда попадал через трухлявые пни. Ондрей мимо шел, слышал, куницы радовались: «Хорошо-то как! Живы будем!» — одна говорит. — А другая: «И-их, милая! Тыщами плыли все лето белки через Онего с Пудожского берега. А здесь им нас не достать! Пусть себе по верхам порскают! Там их Ондрей-охотник добудет. Они — нездешние, его зная не ведают...»

Ондрей и сам заметил: с весны еще белки стадами плыли по озеру. Вот, оказалось,— войной на куниц за старые обиды.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Такая лопатка вепских охотников хранится в Ленинградском музее этнографии народов СССР.

<sup>2</sup> Арабский путешественник Абу-Хамид ал-Гарнати (XII в.) рассказывает в упомянутой книге о подобном представлении северян о войне бобров.



Тут Ондреева собака белку облаяла. Выстрелил — не попал. Он и в другой раз выстрелил, и в третий... Видит — дело нечисто: пули не долетая падают, ровно ударившись неведомо обо что! Один только заряд остался! А белка — вот она: дразнится, зубки скалит, будто улыбается, шишками кидается:

— Ха-ха-ха, глянь-ко, дедушко, на неудалого стрелка! Того не знает, что тебя простая пуля не берет, только медная, серебряная либо золотая!

А Ондрей — он звериный язык зна-а-л... Догадался: леший белку обороняет. Взял медную пуговицу, расплющил, в ствол ружейный шомполом загнал.

— Ужо погоди, покажу я твоему дедушке! — рассердился, конечно. Выстрелил — пошел по лесу стон, гул, вой. Белка на землю пала, а по лесу старичонко в белой шляпе с черными полями побежал, рукой трясет.

— Я не шутки шутить хожу по лисям! — Ондрей говорит, а самому жаль — знакомый лесовик. — Ничего, залижут тебе зайцы лапу-ту...

## ОХОТНИЧЬИ ПРЕМУДРОСТИ

На охоте Ондрей был удачлив, добычлив: он все делал по старопрежним законам.

Свое шомпольное ружье Ондрей каждую весну обмывал горячей сорочьей кровью. На Иванов день, летней ночью, он, говорят, находил цветы папоротника. Конечно, страхов тут наберешься немало, поди знай, чего и увидишь. Зато понимал Ондрей язык зверей и птиц, на охоте становился невидим для них, неслышим.

Ондрея зверь ранит — всякое бывало — он сам себя лечит. Глину размешает на простокваше, положит между двух больших ольховых листьев, к ране привяжет. Выздоровеет кряду!

Удачлив был на рыбалке. На Петров день расцветает трава Петров крест. Умел Ондрей отыскивать и этот цветок. Отыщет — к грузилу привяжет. Самые крупные лососи уж его...

Никогда не ругался Ондрей скверными словами. Он то в лесу, то на озере, то на пашне. Заругайся там — заболеешь от леса, от воды, иль от земли... Так старики-то считали; это строго было.

Медвежий коготь носил Ондрей на груди — и был ловок, ухватист, как мохнатый хозяин.

Он по лесу идет, услышит, как дятел стучит — подойдет, долбленную шишку с земли подымет, в зубы себе возьмет. У него зубы никогда не болели.

Ондрей загодя знал, какого зверя много будет. К примеру, ежели шишек много родится на соснах — жди множества белок. (Это и мы знаем. Сейчас шишек тоже много на соснах — дак я в Петрозаводск поехал, договор заключил — белок стану сей год промышлять, шкурки сдавать).

## МЕРА ОНДРЕЕВОЙ СИЛЫ

Мужики сидят на кряжике; у них — разговор.

— Нету меры Ондреевой силы! Нету меры Ондрееву знатью.

— Есть мера!

— Нету!

Поспорили. Сговорились Ондрееву силу и догадливость испытать.

На другой день погрузил один мужик полный воз снопов. А его нивья в низине, рига на горе...

Ондрея зовет:

— Помоги!

Ондрей силы своей не жалел. Он со всей охотой плечом к возу приналег. А сосед вожжи на конец оглобель намотал — коню некуда деваться. Конь назад пятится, а Ондрею не видно.

— Худ конишко у тебя!

— Ох, худ, что делать...

— Дак ты коня-то выпряги, как-нибудь вытянем — ты сзади толкай, я за оглобли возьмусь.

Тут мужики-то, которы спорили, — они за ольхами сидят, опять спорят:

— Нету меры Ондреевой силы!

— А знатью Ондрееву мера есть...

Видят уж, чего мужик-то спромыслил. А он сзади встал, да в спицы колес тележных черенок вил и вставил!

Ондрей до земли склонился, он кровавый пот роняет, он телегу тащит. За телегой борозды, как за сохой. Потому — колеса не вертятся, землю пашут, бороздят.

Втащил телегу на кряж Ондрей. Повернулся, домой пошел, на лавку пал.

Мужики сошлись, согласились:

— Нет меры Ондреевой силы! Нет меры доброте его и кротости. А и нет меры мужицкому нашему неразумию.



## Вепские напевы



— Я думала, везде вепсы живут, на всем белом свете. А теперь поехала, по телевизору видела — узнала!

Усталая седина вепских бабушек, улыбочивые, с печалью на донышке, глаза. Это тоже осталось в памяти после поездки по вепским селам.

Впрочем, старые крестьянки ни о чем не жалеют: «молодости не воротить, старости не избыть». Они по-детски увлечены приметами современности. Я видел, как окружили они свернувший на минутку к чайной тяжелый, горячий от дальнего пробега огромный автомобиль междугородных перевозок, как обсуждали подробности недавней поездки вепского народного хора в Финляндию, как жадно слушали рассказы всякого вообще приезжего из дальних и недалних краев.

Современность оборачивается для вепской женщины дружелюбным простором родной страны. А я спрашивал о прошлом...

«Раньше и о Христов день так не жили, как нунь о неделе!» — повторяли вепсянки присловье, слышанное мною в самых разных уголках Карелии — от карел, вепсов, заонежан, поморов.

И опускали головы, задумывались.  
О чем?

Перелистывая старые книги и материалы истории Прионежья, я обратил внимание на краткие годовые записи церковной летописи Шелтозерско-Бережного погоста:

«1879 год — Хлеба повреждены морозом, страшным ливнем унесло почти все скошенное сено. Ужасно тяжелый год.

1880 — С 6 по 8 мая большой снегопад.

1881 — Засуха. Бури.

1883 — Год, причинивший много вреда судоходству и крестьянству.

1898 — Неурожай.

1899 — Суровая зима. В мае — снег.

1915 — Неблагоприятный год.

1917 — Плохой урожай трав.»

После чтения этих записей наполнялось житейским смыслом, конкретным содержанием слышанное в вепских селах.

Суровые природные условия, низкие урожаи вынуждали мужчин искать заработок на стороне, в дальних и ближних городах. Уходить из деревни им, печникам, плотникам, каменотесам, приходилось в лучшее, страдное время года.

Вепсянка не только жала, косила — она ходила за сохой, молотила, метала заколины сена; все мимолетным северным летом.

О доли матерей и жен «чуди» вспоминали, говоря о прошлом, женщины в вепских селах.

В самом начале XX века у вепсов побывал археолог А. И. Колмогоров. «...жена — полная раба семьи. Она — вещь, домашнее животное и только, — писал он. — Правда, душу у бабы мужики по большей части признают. Но душа эта не совсем настоящая, и с мужичкой ее ровнять не приходится. Мужик за свою душу подать платит, подушное. И если бы у бабы душа была настоящая, то начальство об этом наверно знало



бы и, следовательно, тоже обложило бы податью»<sup>1</sup>, — с сарказмом пишет путешественник.

Полны сурового трагизма рассказы старых вепсянок о прежней жизни — о годах их молодости.

## ГАБ И ЭЛЛИ

Колокольный звон плыл, гуляли парни в сатиновых и ситцевых рубахах, с цветными платками на шее, девушки в береженных бабушкиных нарядах, подпоясанные — с бантом сзади — широкой цветной лентой.

Пасха!

«Идет весна-красна!» — говорили старики. Попы благовестили: «Христос воскрес!» Молодежь, конечно, радехонька: христосуются, целуются на людях.

Был в том селе в гостях парень рябой, по прозванию — Габ<sup>2</sup>. Смолоду сломанный тяжелой работой, глядел исподлобья. Он девку поймал, за косу держит.

— Целуй теперь, — говорит. — Христос воскрес!

— Может и воскрес! — девка хохочет. — А целовать тебя неохота!

— Идешь ли замуж за меня? Я, гляди, богатой!

— За такого рябого?! Я у матери-отца одна дочь, мне и получше жених сыщется.

Немного времени прошло, приезжают сваты в деревню. К той фатере, где девушка жила, заворачивают. На воронец рукавицы кладут, печи, иконам кланяются — честь по чести. Сели; разговоры разговаривают.

— Ну, а сколько у тебя имения-то, имущества, погородскому сказать? — жениха невестина родня спрашивает.

---

<sup>1</sup> А. И. Колмогоров. «Поездка по Чухарии», журнал «Земледелие», 1905 г., № III—IV, стр. 112.

<sup>2</sup> Г а б — осина.

— Да я человек, прямо сказать, прожиточной, богатой! Две лавки есть да мельница.

— Надо выдать — богатой! Надо, надо за него дочку выдать! — говорят.

Ну, сыграли свадьбу, обыкновенно: посадили молодых на пуховые подушки, провезли меж огней, как деды завещали. После свадьбы привезли молодую в избу к жениху. Худенька избенка...

— Где же твои лавки? — молодая интересуется.

— Как где? На одной ты сидишь, на другой — я!

— Хой, горе... Где мельница?!

— А эвон в углу стоит: из двух березовых чурбанов сделана, клиньями железными набита. Это ли не мельница? Возьми-ко, намели муки, замеси тесто, напеки хлебов! Сидеть-то неколи! Ведь нас, мужиков, четверо, а хозяйки нету — мать больна, стара!

И верно! Сбирались за стол все четверо: муж, свекор да два деверя — мужнины братья, холостые мужики. Жена картошку свари, почисти — да гляди, поскорее чисти, чтоб дымилась, когда на стол подашь, а то и есть не станут!

Мужики каторжно в городах работали. Домой едут — они ничего не делают. Хозяйство на женских руках. Да другие-то инный раз на люди с женами едут. Попросилась и Элли.

— Съездим к родителям! Только бы на мать взглянуть!

— Запряги коня!

Родная деревня — не дальний свет: быстро домчали; стоит мать у проруби, порты вальком хлещет.

— Ну, повидала? То и ладно. — Развернул коня, увез обратно.

Мать сама к дочке приплелась. Глянула на дочь — руками сплеснула: «Где твоя девичья краса?!» К колдуну в деревню Габшому ходила мать. Лососей (лососями брал колдун) носила.

— Обижает дочку муж, сохнет она, худо ей.

— Видать, заворожил ее счастье другой колдун, по- сильнее меня. Сходи в Карелу: есть там знаткие колдуны — быват, помогут.

Да не собралась старуха: слабая уж очень была, где ей...

...Правятся по весне мужики в Питер, на заработки. Элли пошла проводить своего — слезинки не проронила. И он суров.

На пароход сели (на палубе их место, в каютах господы ездил). Глядит Элли, глядит — такая глазастая была. Не причитывает с соседками, молчит.

Уж пароход далеко отошел — мужики Габа тянут к борту:

— Гляди-ко, гляди — машет тебе жена! — Обрадовался он, платочек выдернул, помахивает тоже. У него слезы на глаза: знает, обижал...

Элли, соседки слышат, руку подняла и громко так по-вепски говорит:

— Ота синдей метцына! Ала туле! Ала туле!<sup>1</sup>

А сама плачет. Впервой заплакала, все как каменная была...

Он и вправду ведь не вернулся. Война началась германская, убили его. Элли дома и за бабу, и за мужика управлялась. Дочка у нее была. Подросла маленько, Элли ее в кошель посадила, в Петрозаводск унесла: не надо ли кому в няньки? Взяла барыня одна; добрая барыня, учительница.

...Мать несла дочку, говорила ей:

— Ты тихо сиди, я тебя добрым людям отдам. Они тебе новое платье купят.

Пришли — барыня на базаре и спрашивает:

— Идешь ли, девочка, ко мне?

Маленькая была, глупенькая:

---

<sup>1</sup> Возьми тебя леший! Не возвращайся! Не возвращайся!

— Буде новое платье купите, дак пойду.

Мать всполохнулась:

— Ее кормите только!.. Она отработает. Недород у нас, нечем дитя кормить...

Велика ли была, работница. На работу в кошеле принесена. Старухой я стала, а того не забуду. Ведь это меня мама несла, спотыкаяючись. Про моего отца, про мою бедну маму тебе говорено...

— А про мою маму сказать ли?

Осталась она от мужа двадцатипятишестигодова...

Раньше мужики ходили бурлачить. Папа пошел — не вернулся. Осталась с двумя детьми, вот как!

Попросилась она к рыбакам в лодку. Брали ее четвертой — работа самая тяжелая, на веслах, а доля от улова — самая малая.

В Онего всякое бывает, прихватит непогодой — света не взвидишь. Она красный плат надевала, чтобы узнали, коли утонет. А тонуть стала — не захотела тонуть! Мужики уж помогать бросили, легли на дно, зубами стучат — она все лодку против волны ставила, чтобы не опружило. На берегу-то ребята ждали, малыньки...

Свои сетки завела, лодчонку.

— Опохожать сетки выйду раным-рано, на горку выстану, во все Онего запою! — маменька сказывала.

— Какую же ты песню пела, мама моя?

— Какая жизнь, такая песня... Певали и веселые тоже, без этого нельзя на свете жить.

Всего горя не проплакать,  
Всей тоски не пережить.  
Видно, надо инно горюшко  
На радость положить.

Знали много русских песен. Этапом ссыльных проводили, они удивлялись: «Вот уж диво! По-русски ничего не говорят, а песни русские поют!» Да ведь горе-

то одно, что у русских, что у чухарей, как раньше нас называли.

— Горка или кряжичек, где в сухое время вышивали,—это в каждой деревне было. Вышивали в отдых — работой не считалось, как по ягоды ходить... У какой минутка свободная выдалась — уж она пяла в руки, подол подобрала, бежит.

Вышивают-вышивают, молчат-молчат... Да вдруг — будто сговорились — встанут все, запоют! Одни женские голоса... Мужики в городах, на заработках. Они только на зиму домой бывали. Наедут парни — тут уж веселье девушкам. Собираются в беседну избу. Инный раз по очереди сговорятся друг к другу ходить, а то вскладчину нанимают избу на всю зиму, до проталин. Там другие песни. Вечер долгой — и песни длинные, до-сюльные.

Как во темном во лесочке  
Долина была,  
Широка, долга...

А во той ли во долине пастушонко стадо пасет, он на дудочке поигрывает. (Пастух, который хорошо на дудочке играет, он и сейчас есть — Аким Михеевич Носов, в Розмязе живет. Он раз в Петрозаводск приехал, на улице заиграл. Тут толпа собралась, автобусы, троллейбусы остановились...)

Мы про молодого пастуха поем, а каждая себе парня высматривает. И парни к нам приглядываются. Девушки на беседах которые вышивают, которые прядут. А которая — поясок плетет.

У нас плели пояски узеньки — для прялицы, кудель привязывать. Другие были пояски широкие — в три пальца — мужики да парни их носили; узорные пояски, шерстяные, прекрасные собой. Мне парень говорит: «Сплети поясок». У парня домой к нам придет-

но. Я поставила самовар, села да плету. Сплела кушак, и с кисточкой. Тут и самовар скипел. Я кушак отдала.

— Ав-вой, кушак сплела, пока самовар скипел! Надо эту девку замуж взять.— Так я замуж вышла.

А вышивали что? Что видишь, то и вышиваешь: люди сидят, чай пьют, цветы цветут. Это тамбуркой шили. А досюльным швом коней, птиц вышивали на станушках, рубахах, настилальниках.

Бывали полотенца длинные, бывали — короткие. На одних полотенцах филины кричат, ухают, на других — тетерева токуют.

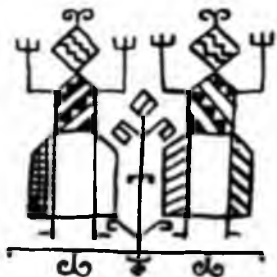
Вышивали просто узоры. Что это — не скажешь, а красиво...

Рукодельницы, песельницы, сказочницы северянки обычно скупо говорят о древнем женском уменье вышивать, ткать, прясть.

Для них это — обыденный труд. Красота его непередаваема словами и уже высказана узорами.

Вытканное, украшенное шитьем полотенце возьмет в руки будущий муж. Из тонкого холста выйдет рубашонка первенцу. Годы пройдут — и, спокойно вспоминая прожитое, крестьянка под легкий, сухой стук ткацкого стана готовит себе холст на «смертную одёжу».

Был встарь обычай: крестьянской девочке-невеличке лет шести-семи дарили прялицу — маленькую, по росту, ярко расписанную. Это ей и в забаву, и для учебы: старшие прядут и она присматривается, учится. Тянется нить, как живое вертится в руке веретенце, подвигается учеба. Вот уж и к ткацкому станку присматривается будущая мастерица. Ткацкий станок из деревянных брусьев рублен, на четырех ножках стоит. Впереди поворотный вал-колода — и позади. С колоды на колоду течет поток ниток, сквозь тростниковый гребешок берда процеживается — это «основа» будущей ткани.



Возле переднего вала поперек потока нитей «челнок» деревянный ныряет, в нем катушка с ниткой. Прокладывает челнок поперечный слой ниток — «уток». Ткет мастерица; повернет передний вал — наматывает ткань, дальше ткет... Поскрипывали в крестьянских избах старые деревянные ткацкие станы, сходили с них холст на рубахи, узорные скатерти и полотенца, пестрядь на сарафаны, шерстяная ткань для теплой одежды и узорных юбок.

Нынче на модницу художник-текстильщик поработает и портной уменье приложит. А раньше мастерицам приходилось и за модельеров, и за художников поразмыслить — тоже ведь красивое любить! Немудрящий узор — клетчатый либо полосатый, да и красок немного — но и такими скудными средствами крестьянка могла создать множество вариантов разнообразных по цветовому сочетанию, по узору и по фактуре пестрядей.

Из-под прочной конопляной ткани сарафана, из-под яркой шерстяной юбки белеет льняная рубаха: подол зат-

кан широкой полосой алого узора, по рукавам — тонкое точиво оплечий, по вороту — узоры — таков костюм северянок.

Заузорицы (ромбы, треугольники), замысловато скомпонованные, с одной стороны тканины выглядят как алые по белому, а с обратной — белые по алому фону. Это признаки так называемого «браного» ткачества и наборной техники вышивки. Орнаменты эти очень древние, условность их художественного языка продиктована самой техникой тканья.

Браное ткачество — строгое искусство. Работая в этой технике, северные мастерицы применяют только один цвет — красный на белом фоне; тщательно следят они за выразительностью промежутков, рисующих четкий алый силуэт на зернистой фактуре белого или чуть сероватого холста. Иногда рукодельницы и вовсе отказываются от цвета и выполняют узор «белым по белому». Так сделаны широко распространенные в Прионежье и Каргополье «скатерти браные», часто упоминаемые в былинах; как и тра-





диции сказительства, навыки этой техники тканья сохранились только у нас на Севере.

Тканые узоры — украшение крестьянской одежды и интерьеров избы — дополняет вышивка. Иногда она используется для создания постепенного перехода от насыщенного цветом, богатой по фактуре тканины к спокойному фону холста. Но обычно вышивка совершенно самостоятельно украшает изделие, лишённое тканых орнаментов. Как и узор браного тканья, вышивка выполняется то красным по белому, то белым по кумачу. Славу заонежской традиции составили строгие вышивки белым по белому, аналогичные древней традиции тканья, но еще более выразительные.

Только в Пудожском крае и Каргополье встречается многоцветная вышивка, в которой утонченное изящество, ажурность вышивки Прионежья и Заонежья заменяется пышностью и пестротой узора; построение орнамента становится монументальным, как композиция древневосточного скульптурного фриза. Иногда в узорах пудожских и поморских вышивальщиц встречаются кованые медные блески, а то и тяжелое золотое шитье тускло блеснет между цветной, похожей на аппликации, вышивкой шерстью. Не диво и шерстяная либо золотая бахрома по краю полотенца или подзора взамен легкого льняного кружева или вязанья, что украшает рукоделье Заонежья и Прионежья. Орнаменты вышивок обычно менее условны, чем узоры ткачества, — в тканье применяются геометрические орнаменты, в вышивке — по преимуществу изобразительные мотивы.

Древнее ремесло вышивальщиц сберегло для нас образы, порожденные поэтическим вдохновением людей давно минувших времен.

Вот велсская вышивка, узор которой выполнен в технике «шов набором». Словно кусочки разноцветной смальты в старой мозаике сияют разнообразные четы-

рехугольники, треугольники, ромбы, образующие изображение. Общий силуэт его обведен плетеной «косичкой». Одна за другой повторенные по закону орнамента несколько раз, величаво движутся могучие птицы с пышными хвостами и процветшими крыльями; они перемежаются символами солнца. Орнамент, простиравшийся во всю длину края простыни — настилальника — фризообразен. Строгой ритмичностью, направленностью движения этот узор напоминает античные орнаменты — «меандр» и «волну».

Птицы встречаются и на закрайках вепсских полотен — в этом случае изображение ограничено с четырех сторон и строится по симметрии. В центре находится дерево или фигура женщины, по сторонам — птицы или всадники. Закрайки обычно невелики по размеру; мастерицы часто избирают для украшения их технику «двусторонний шов» — с обеих сторон одинаково выглядят короткие, уступчато положенные стежки красными нитками. Техника эта довольно древняя. Недаром в народе она зовется досюльной.

Археолог В. А. Городцов первым предположил, что в орнаментике наших северных вышивок звучат отголоски древних мифов. Так изображение женщины с воздетыми руками связано с культом «богини-матери». Оно часто заменяется условным изображением «древа жизни»; нам встречались и случаи совмещения в одном узоре признаков «древа жизни» и «богини-матери». Всадники могут быть символами бурных стихий; птицы — вестницы солнца, весны; с солнцем отождествлялось и изображение коня.

В вышивках не только воссоздаются древние заповеданные узоры, творчески переработанные мастерицами. Есть и умелые импровизации новых декоративных мотивов. В одной из самых распространенных в Карелии техник вышивки — швом «тамбур» — выполнены разнообразные узоры, сделанные как бы одной линией



от начала до конца — «без отрыва». Мاستерицы тамбуркой, крючком, похожим на вязальный, сплетают косичку-тамбур из алых нитей и кладут ее на белый холст; белую косичку укладывают узором на кунач. Диковинные цветы и травы, разнообразные розетки — тематика таких вышивок. Но встречаются и настоящие картинки с домами, девушками в сарафанах, нахохлившимся петухами

В путешествиях по деревням Карелии нам только дважды пришлось встретиться с вышивками тамбуром, воспроизводящими традиционные мотивы: в Пудожском крае мастерица дополнила узорную розетку изображением традиционных птиц и «солнечной ляды», у южных карел — в районе Пряжи — тамбуром был изображен древний ритуальный знак карелов — ромб с четырьмя петлеобразными закруглениями на вершинах.

Особый интерес представляют вышивки, выполненные «тамбуром по филе». Техника их состоит в следующем: на белый холст карандашом наносят узор и пришивают белую же косичку-тамбур. Затем местами подрезают нити, вытаскивают, перевивают оставшиеся льняной нитью. Образуется узор.

С запада на восток, от маленьких карельских деревень к шумному встарь Заонежью и далее к лесной Пудогге и белокаменному Каргополю все разнообразней орнаментика, все более многоцветно рукоделье. Оно достигает пышности, живописности, обогащается вставками из золотого шитья, цветной шерсти. Хороши и строгие, архаичные вышивки на юго-западе Карелии и у вепсов.

Шелтозерские вепсы живут на золотом берегу Онега, слева от них — карелы, к северу — Заонежье, справа — Пудогга,



а к югу — богатая своими художественными традициями Вологодчина. И скачут кони, шествуют птицы, расцветают цветы на вепских вышивках, вобравших в себя строгость заонежских узоров, пышность пудожского тканья, узорчатость вологодского рукоделья.

## ПАЛА РОСЫНЬКА...

А как пойдём мы на сенокос, обязательно надо встать на горку, надо «Росыньку» спеть. «Распривольную» вот тоже. Будто чего не сделали важного, будто наряд нам такой. Зальёмся:

Па-а-ала-а ро-сын-ка-а-а  
Роса-а...  
На темные леса,  
На луга зеленые,  
На траву шелковую...

Запеваёт одна, пристаёт все.

На пожню придем, косы уставим. Оселки по железу застукают, таково весело — частушку петь хочется. Сила с утра великая, да и тихо уж очень, только косы в лад вызванивают. Видно далеко-о-о! Запоем. Да не часто слова-то выговариваешь, протяжно выпеваешь.

Я надену сарафанчик  
И коротенькой жакет...  
Меня молоду, желанной,  
Полюби на долгий век!

Это я поначалу пела; это весело поется.

Была у нас знаменитая плакальщица — Матрена Павловна Петрецова. Умерла недавно — после войны уж.

Пела на свадьбах, приплакивала.

Перво плачут, когда глаза невесте крестят; потом перед баней в свадебный день. Гораздо сильно заплачут в третий раз, да и в последний, — когда волю отпускают. Девушку в бане моют, уж ее после бани по-

бабьи уберут, голову-то под повойник, передник повяжут; тут заплачешь:

В первой раз я пару кинула —  
Моя волюшка испугалася.  
Во второй раз пару кинула —  
На стену воля кидалася.  
В третий раз я пару кинула —  
Вылетела воля на белый свет.

Волю — а это аленькая такая ленточка! — девушка подружке лучшей передает: «Береги, не отдавай до времени никому!» Между горящими снопами проведут, на подушки за свадебный стол посадят да к мужу увезут; тут и все!

Певала я и вдовью... Похоронное известие получила — сами слова выплакались:

На порог пойду, повыстану —  
Далеко кругом видать.  
Увижу милого убитого —  
Кого я стану ждать?

— Кто бы песню написал — я бы спела. Такое было, а песни — нету.

Был красивый парень Кузьма; он полюбил Настю, хорошую девушку. В свадебну ночь гораздо сова ухала, так ухала, так кричала. «Что плохое может быть? — думали. — Это плохой знак: сова кличет...»

А вот что: война началась! Ушел Кузьма в партизаны. Настя тоже хотела пойти, мать не пустила: «Куда пойдешь, ребенка в лесу застудишь...» Она ребеночка ждала.

...Проходил ночью партизанский отряд. Партизаны в бой шли. Их Кузьма вел. Он молодому пареньку говорит: «Сходи, сбегай к Насте, пусть выйдет к лыжне. Утром обратно пойдем, я на сына взгляну!» (Еще не видел сына.)

На севере звездочка горела, вот переливалась... Холода-морозы обещала.

Настя пришла на лыжню, еще ночь была. У нее ребенок на руках, она под сосной ждет. Над лесом, в той стороне, куда отряд ушел, огонь встал, там бой идет, стреляют... Она дитя качает, сама мужа тихонько зовет, вот зовет: «Ку-у-ся! — по-вепски зовет — Ку-у-ся».

Все не шли партизаны; лыжню запорошило. Настя в снегу стоит. Холодно, ох, холодно в лесу!

Но вот — идут партизаны. Они идут по двое, по трое — друг друга поддерживают. Настя к одному кинулась, к другому — ей показывают: там, дальше, он сзади идет.

Кузьма на врага шел впереди, от врагов уходил последним. Из автомата стрелял, гранаты кидал. Из-за куста враг выбежал, выстрелил — упал Кузьма. Не увидел сына...

Такую песню я бы спела!

Приехала нынче в Рыбреку (тоже вепское село). Зашла к Насте. Давно не виделась, я ее не сразу узнала. Она старая стала, седатая.

У стола красивый мужик сидит, толстую книжку читает.

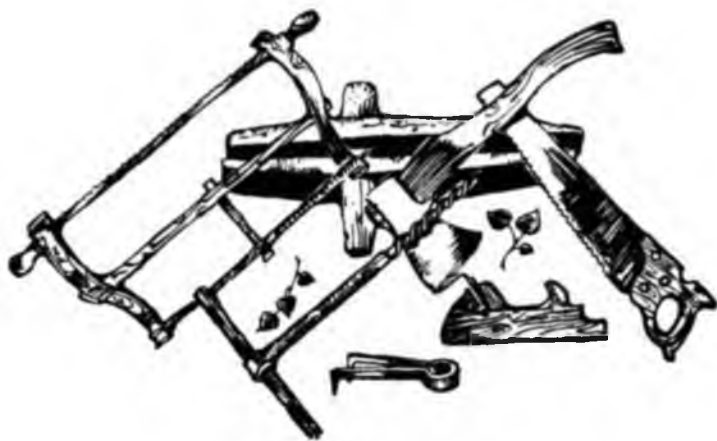
— Ав-вой, это ведь Кузьма у тебя, — говорю.

— Да что ты — это Ленька, сын! Он теперь постарше Кузьмы. Кузьма моложе был, этой книжки не читал.

...И мой муж лежит под такой же красной звездочкой на Рыборецком кладбище.

Я пошла, пала на могилку, припеваю. Она подошла: «Спой и моему!» Я пою, она плачет, заливается.

Расколись, земля сырая,  
Разлетись, песочек желтый!  
Ты, любимый мой, повыстань,  
Я к тебе пришла с кручиной.  
Расскажу тебе, мой милый,  
Как живу теперь одна я:  
Горе мыкаю без ласки,  
Дети выросли большие,  
Кто куда поразлетелась.  
Поседали косы русы...



**В бурлаках**





— А я не видал никакого лешего! Чего стану рассказывать? Мне виденье было, когда я холостяжил: девки каждую ночь щекотали. Маме пожалился — вот глупой! — женили меня.

На свадьбе женка сидела возле меня, платом покрытая. Дружка — Дефим — платок сдернул.

— Хювя мучой?<sup>1</sup>

Я гляжу: глаза — оба, щеки красны, губы толсты.

— Хювя!<sup>2</sup> — Раньше всех крикнул: разглядел, видишь! А на утро уж в Питер уехал, на заработки, молодая жена дома хозяйствовать осталась.

Мы ведь все в бурлаки, на заработки значит, были уходи. Кто по каменным работам, кто по плотницким; были черепенники-гончары, пастухи были.

Наши старики слыли славутными каменотесами. Они и Питер строили.

В старину, чуть вскроются реки, уж они подпояшутся в путь. Часть бежит пешком — молоды. Которые степенные — они покупают лодку, садится дюжина мастеров; парусок вздернут. Неделю идут. В Питере лодку продадут. Лодки здешние там в цене.

Пароходы-то уж вона когда пошли! Стали ездить на пароходах.

---

<sup>1</sup> Хороша молодая?

<sup>2</sup> Хороша!

Которы дойдут до Питера — тут по артелям разбегутся; которые — в Финляндию едут, которые — в Эстонию. Один-то прыткой, дале всех угребся — в Порт-Артуре подолгу работал.

Наших отцов водил в артели подрядчик и мастер Иван Дмитриевич Еремшин, из Горнего Шелтозера.

Какая работа? Надгробные плиты делали, памятники, тумбы; мрамор шлифовали; старики умели и выколотку букв на граните, на мраморе делать. Тех звали — словорубы. Это старые мастера, степенные.

Работа, конечно, тяжелая. Ну, мастер — он полгода в городе работает, а ученик, мальчишечко, — такие теперь только в барабаны бьют да на трубах играют — он, бедной, круглый год каменной пылью дышит! Инструментишко самый немудрой: стальное долотце, кантовка одна или две, несколько молотков с острым концом — тесалок. А ко всему руку имей твердую, глаз вострой, ум светлой. За год-другой так нашколят... А нет, так и три года будешь в учениках.

В плотниках тоже несладко: от темна до темна работали — до скончания сил. Домой-то со сруба уж со смольем идешь — огонь запалишь, чтоб дорогу увидеть, ежели осенним делом.

Тес для крыши тесали топором: клиньями разбивали бревна на три плахи и тесали. Вытегорски да кирилловски пильщики приходили — пилами тес пилили, один «вершником» стоит на козлах, другой «нижником»... Вот поту-то сойдет тоже, пока бревно распиливают, пока пила сверху вниз и снизу вверх ерзает. А пиленный тес — он похуже будет: у дерева пилой все жилы рвутся, а под топором только сминаются да срезаются. Тесаный тес крепче пиленой доски. Да пиленая-то доска — дешева, работа скорая... Стали и наши плотники козлы для пиления варганить, пилой звенеть.

Жили большими семьями и срубы рубили огромные, на две избы, сени посредине, позади — сарай.



Кухонный угол отделялся «заборкой» — стенкой из шкафов. Шкафы, наличники на окна, столешницы расписывали львами, птицами и разными узорами. А то напишут на одной ставенке молодца, на другой девушку!

Были красильщики-живописцы: летом красили наличники, зимой прялки, дуги, столешницы, заборки кухонные.

Видел дом Мелькиных у нас в Шелтозере? Его все туристы фотографируют, художники рисуют. Хозяин этого дома, Василий Андреевич, красильщик был, настоящий живописец. Он по городам работал, только на зиму домой приходил. А отец его, Андрей Мелькин, старики помнят, подрядчиком был: мостовые в Питере мостил; такой промысел.

Наша молодость — для вас старина. На што она вам? Худо жили, много работали. У меня первый сын родился — я двадцатигодовый был... Баба моя тяжело работала, оттого, видно, мертвенький сынок родился. Старики говорят: ты, Андрей, и ты, Марья, идите-ко, идите с богом на ра-



боту, весна ведь, неколи... Поцеловали мы ребеночка, да на работу бежать. Без нас хоронили — вот как!

Нанялся я тогда работать в Питере на пороховые склады, на Выборгской стороне. А тут и германская война. Дали мне от воинской службы освобождение, потому — на службе этой моей похлеще, чем под пулями было... Тыща смертей вокруг! В склад войдешь, рыла снарядов, бомб узришь — ровно протяжный зевон услышишь: «Ску-у-шно! Выпусти, дай волю!»

Страшная служба в складах пороховых была: там смерть, людьми сработанная, по людям скучает. По два эшелона снарядов и патронов отправляли мы на германский фронт ежедневно. Ходим под страхом, ноги в веревочных чунях еле волочим по каменну полу — искры боялись. Как отправишь с утра эти два эшелона — вроде полегчает. А тут совесть на тебя и навалится: чему обрадовался? Там люди, хотя бы и австрияки да немцы, под этими бомбами гибнут... И опять с завода эшелоны прибывают, да вместо тех двух — четыре да пять... Ох, горе! У смерти-то какво прислуживать молодому мужику! Скрутит дума так, что встанешь, руки врозь, как столб. А шибко задумаешься — живо и по шее получишь! Лютые у нас были стражники-надсмотрщики. Налетит, заорет:

— Ну, ты, чудин, белоглазое отродье, чего задумал, так твою и растак!

Револьвера да шашки надсмотрщику не полагалось, а уж кулаки — при нем. Деться тебе некуда, кругом каменны стены, потолок низенькой; на каменной пол падешь, мужичонко молоденькой, безусой, в рваной робе, в веревочных чунях...

Иный раз — как капсуль в тебе вспыхнет от затрецины-то, весь твой боевой заряд займет. Думаешь: вот сронить сейчас снаряд этот на пол — и все к черту!

Тут и вспомнишь — 300 баб на складах, их дома дети ждут. А с Путиловского к вечеру опять навезут

свиноголовых этих бомб. Подумаешь: «Ничего ты, Андрюха, один не сделаешь...» Ну, и пойдешь дале работать.

С самого четырнадцатого году, как я поступил, так было; с февраля 1917 года немного изменилось: стражник к ругательствам только стал слово «гражданин» прибавлять. Оплетет, заушит до звона в голове да прошипит: «Гражданин свободной России, сукин ты сын, так твою...» Каменные-то стены не пораздвинулись, а от издевки потолок-то будто еще снизился.

...А это случилось уже под весну. Капель, казалось, и у нас, за стенами казематов, была слышна.

— Эй вы, суслики!— орет вдруг кто-то от проходной. Выбегаем — стоит один наш рабочий, у него выходной был.

— А ну, кончай работу!

— Али загулял?— спрашиваем. Видим, человек не в себе.

— Загулял! Потому — революция настоящая, пролетарская идет!

Сбежал по ступеням вниз, к нам, да и сплясал вприсядку. Веселый был такой ярославец. Мы остолбенели:— Ты что, Гринька! Ты ж склад взорвешь, у тебя из-под каблуков искры веером!

— Все равно — огнеопасная революционная обстановка, суслики вы мои!— захохотал он и убежал.

...Выскочил я на улицу — от свету апрельского, весеннего глаза щурю. А навстречу марширует во всю улицу рабочий класс. Городовые, жандармы в подворотни лезут. Меня русский рабочий за локоть взял: «Айда с нами,— говорит,— Ленина увидишь. Едет Ленин в Питер!»

Видел я Ильича! Слышал!



**Мы — вепсы!**



— Думал, в городе буду жить! Специальность — слесарь-инструментальщик, комната есть. Отработал, чистое надел — пойди в кино, в театр пойди.

Пошел я в Дом культуры. С дружками, с девчатами. Обрато идём — ребята заметили: «Туда Рюрик шёл — смеялся, возвращаемся — он уже грустный. А я, знаешь, на концерте песни слушал, да встряхнуло меня, будто без резиновых перчаток за провода взялся. Хор запел: «Вепский край, онежский берег, вы, леса, поля большие, пожни да поляны! Пастухи в рожок играют, над волнами чайки кличут... Вепский край! Ты сердцу дорог».

Ребята посмеялись — и рукой махнули: «Влюбился, наверно! Девушка понравилась, которая концерт вела!» Они в общежитие пошли, а я по городу долго бродил, думал: «Как же так я, вепс, родные места забыл! Отец, мать там, а я здесь хожу!»

Недолго собирался. Домой приехал, соседи говорят: «Ав-вой, Рюрику худо в городе жилось!» Никого не слушаю. Мне 28 лет, а я — ботинки в руках — по траве хожу. К Онего вышел, петь хочется: «Вепский край, мой край родимый...»

Отец все понял, пошел старик в контору совхозную. «Иди, — говорит, — тебе работа дома есть. Электросварщики нужны». Живу обыкновенно, работаю в ремонтно-механических мастерских.

— Нет, необыкновенный он человек, мастер необыкновенный, — горячо говорил мне о Лонине заведующий совхозными мастерскими Евгений Михайлович Ефремов.

— Он электросварщиком был. Потребовалось вести работы по газосварке. Отправили Рюрика учиться на Онежский тракторный завод. Оттуда его насилу отпустили: хорошие специалисты и там на вес золота. Ведь Рюрик сваривает — как вышивает, а слесарь какой, а жестянщик! Случись медник нужен — он и медник. В моторах — в любом разберется. Если нет запасных частей — сами делаем — тот же Лонин может сделать.

...Только поначалу-то понабрались мы страху с нашим Рюриком. До меня Щербаков заведующим был, вот он, бывало: «Боюсь, — говорит, — Лонин в космонавты подастся! Однажды сердце так и захолонуло; в самую страдную пору приходит Рюрик после работы, в ручище бумажка исписанная, карандашик держит на отлете».

— Я по личному делу!

— И слушать не желаю! — заведующий уши затыкает. — Почему заявление подаешь? Все уладим!

— Слышал я, вы сказку на перекуре рассказывали, — Лонин говорит. — Я записал, да не все — ребята хохотали, мешали. Дополнить бы.

— Дорогой ты мой! — Щербаков радехонек. — Да я тебе спою сейчас и спляшу! Только сказка-то озорная! — сомневается заведующий.

— Главное, ладно она у вас по-вепски получается.

— Язык наш певучий, слова сами в песню складываются.

Рюрик со стариками, со старухами беседует — выговору, ладу и складу вепской речи радуется. Хочет наши сказки, пословицы, песни записать.

— Давно уже, лет пятнадцать тому назад написал я стихотворение на вепском языке, — улыбается Рюрик Петрович. — С него-то и началось мое увлечение со-



биранием вепсского фольклора. Послал стихи в газету — редакция передала их в институт истории, языка и литературы. И вот однажды получаю письмо от карельского ученого, профессора Виктора Яковлевича Евсева: «Хорошее дело — писать стихи самому. Но еще лучше — и нужнее! — записывать фольклор вашего народа. Попробуйте, увлечетесь!» Прав оказался ученый.

Когда я еще в Петрозаводске жил, отыскивал в городе вепсов, записывал песни, сказки. Здесь постоянно записываю. А в отпуск поехал на реку Оять в Ленинградской области. На Ояти тоже вепсы живут. Ходил из дома в дом — записывал. Нынче собрано более пятисот сказок, песен, пословиц. Печатаются собранные мной материалы в газете нашей районной, недавно несколько записей опубликовано в сборнике «Образцы вепсской речи», выпущенном Академией Наук...

Как стал я записывать песни, сказки — встретилось много слов совсем непонятных, — рассказывает Рюрик Петрович. Слова эти обозначают старинные орудия труда, прежнюю одежду, оружие. Они забыты, как забыты сами вещи. Ведь, наверно, уже не все и русские знают, что значат такие слова, как «скально», «воробы», «станушка» или еще «берендейка» какая-нибудь... Но эти слова можно найти в некоторых словарях русского языка, а наш вепсский словарь только еще создается. Старинные же вещи могут многое рассказать и о народе нашем, и о мастерстве его, и о нелегкой судьбе... Нет, без своего музея нам нельзя!

Несколько лет тому назад односельчане впервые увидели Рюрика Петровича с тяжелым ткацким станом на плече; в другой раз — в обнимку с запыленной иконой. Сельсовет выделил Рюрику Лонину две маленькие комнатки рядом с поселковой библиотекой. Он оставался в мастерской после работы — и вот уже в музее водворились тяжеловатые, зато прочные стеллажи из свар-

ной арматуры. На стеллажах — в тесноте, но не в обиде — расположилась деревянная, керамическая, медная, оловянная и литая из чугуна посуда, домотканая одежда, старинное оружие, извлеченные из земли пушечные ядра. Рядом с иконами произведения народного искусства: резьба, роспись, ткачество, вышивка.

В Шелтозере бывали специалисты из Карельского государственного краеведческого музея — помогли создать экспозицию. Открывшийся музей получил название народного. Есть свой актив: музею помогают ученики средней школы; в Совет музея вошли уважаемые в селе люди.

Однажды Лонин написал мне: «Стал председателем первичной организации Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Предстоит много дел».

В Шелтозере сохранились прекрасные старинные дома в своеобразной резьбе. Лонин с тревогой говорит об аварийном состоянии лучшего из них — дома Мелькиных. Средства на ремонт дома райсоветом отпущены, дело стало за специалистами-реставраторами...

Вепсская песня, что когда-то позвала Лонина домой, осталась с ним: он участник Вепского народного хора.

Рюрика Петровича я впервые увидел на сцене одного из Петрозаводских театров в расшитом узорами национальном костюме. С интересом вслушивался я в своеобразную мелодию вепских песен, в их необыкновенные, берущие за душу распевы, пришедшие из незапамятной дали истории этого маленького народа. Многоголосье песни зацветало бойким, жизнерадостным речитативом шуточных песен, — и вдруг тяжелые вертикальные складки национальных одежд сламывались, и огнем полыхала со сцены плясовая!

— Теперь наш хор славится! — говорит Рюрик Петрович. — В Шелтозере выступаем, ездим по ближним

села, бываем в Петрозаводске. Хору уже под сорок лет... На возрасте!

В 1968 году побывали мы в Финляндии. По всему видно: песни наши финнам полюбились. Особенно «Росынька» — протяжная она, мелодичная. Заставили наших старушек дважды запевать. У нас заводит Прасковья Мироновна Мошкина, а пристает — помогает значит — Мария Акимовна Горбачева.

Та широкая улица, где стоит высокий лонинский дом, названа шелтозерцами именем партизанки, героини вепсского народа Анны Лисицыной.

Спешил я в гости к Лонину, хотелось увидеть его дом, семью. Ведь жильё человека так много рассказывает о хозяине!

Крепкий, светлый крестьянский дом. В чистых сенцах пахло вереском и грибами. В комнате в самодельных рамах — картины, написанные маслом. «Писал, и это было», — отмахнулся, смутясь, Рюрик Петрович. В книжном шкафу рядом с художественной литературой книги по металлообработке и ремонту сельхозтехники и тут же библиотечка по этнографии, археологии, искусству... Многие книги с дарственными надписями писателей, ученых.

Вечером, за поздним ужином (пора страдная, уборочная) собралось все семейство. Хозяйка дома, Анна Петровна, — загорелая энергичная женщина. Работала она в городе, но вот приехала однажды в родную вепсскую деревню и на ярко освещенной сцене клуба увидела Рюрика Лонина, певца и танцора. Это и решило ее судьбу.

Теперь Анна Петровна — помощник бригадира большой полеводческой бригады, член партбюро совхоза. И ко всему еще — счастливая мать! У Лониных трое парней — от 8 до 13 лет. «Старики говорят: один сын — не сын, два сына — пол-сына, вот три сына — это сын», — шутит Рюрик Петрович.

— Сколько же у вас дел на земле? Когда вы успеваете управляться и с семьей своей,— немало! по нынешним временам,— и с музеем, и с фольклористикой — не говоря уж об основной работе!

— Не удивляйтесь, а послушайте лучше сказку, недавно написал.

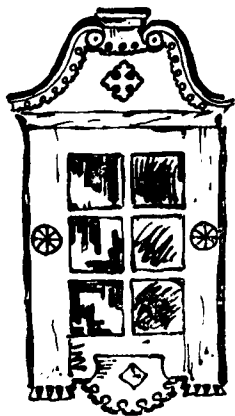
Жил будто бы в недалекой деревне, говорят, в Калинострове парень один. И захотелось ему свет повидать. Он до-олго шел! В чужое село зашел. Постучался в дом. Семейство сидит вокруг стола — вот как мы сейчас — блины едят. Его, конечно, зовут. Садится. Блины хвалит. «Только одно худо! — ему говорят. — Сметана-то у нас в кладовке, дак бегать надо, такая беда».

— Да вы горшок со сметаной на стол поставьте!

— Ох, спасибо, добрый человек, научил!

Переночевал, дале пошел. Глядит — мужик сидит на дереве. В одной рубашонке да в лаптишках и плачет, вот плачет, горько рыдает. Портки внизу висят, на двух сучках прилажены.

— Хой, что плачешь, горько так рыдаешь? — парень спрашивает. — Чего головой маешься?



— Ав-вой, как мне не плакать?— Случилось, до брый человек, по нужде в лесу штаники скинуть а одеть — никак! Дома-то я в люк сарая их повешу да и впрыгну... Ежели не попадешь, так внизу сено, овцы, дак и не убьешься. А об эти сучки я все бока ободрал, камня острые... Ав-вой!

— Да ты на землю сойди, оденься!

— Ловкой! А как я сразу две ноги всуну?

— А ты сперва одну, потом другу... Вот и будет ладно.

— Хой, вот умный паренек, спасибо! Теперь я и дома буду так облокачаться. А то, было, овцы меня ужасаться стали!

Пошел парень дале. А уж слава о нем далеко впереди бежит, не спотыкается! Приходит в деревню — его уже ждут.

— Умной-разумной паренек, ты бы присоветовал, что делать? Мы дом хороший построили, высокий. А в нем жить нельзя: свету нету, темным-темно! Никуда не ходим, ни по грибы, ни по ягоды. Сам я кошелем, жена — корзиной, ребятки — лукошком свет в дом таскаем, маемся.

Глядит парень — стоит дом хороший, а окошек нету.

— С утра будто и натаскаем свету, развиднеет, а как ближе к ночи — опять темным-темно...

— Дак окна-то проруби,пусти свет-то! — Сам парень уж стал удивляться: что за люди такие чудные... Повернулся, да и пошел обратно в свою деревню.

— Вот и я,— неожиданно закончил Лонин,— свет к себе во все окошки впускаю, новые окна прорубаю, за сметаной в кладовку не бегаю. Как со многими делами управляюсь? Так ведь я сперва одну ногу... обуваю, а потом уж другую, обе сразу не гонюсь пристроить! Все просто!

...А на работе, конечно, всякое бывает — и хорошее, и плохое.

Был такой случай.

Мы, ремонтники, ведь не только у себя в мастерских работаем. Надо, так и на ферму пойдешь, и на поле выедешь. А тут мне с утра говорят: сходи в гараж, срежь лестницу-стремянку у транспортной машины. Новую привари.

Такая работа. Мелкая; но выбирать не станешь.

Работаю я газорезкой. Стремянку срезал, новую стал приваривать. Искры по всему гаражу.

А тут парнишка-шофер рядом крутится. Радехонек, что машину его в порядок привожу: рабочие давно поругивались — лесенка одним краем отставала, болталась. Покрутился он рядом, да без дела возле работающего человека чего крутиться... Не утерпел — принял машину, чудак, заправлять. А я и не вижу, пока не запылало.

Парнишко этот ведро бросил, в угол отбежал. Лицо руками от страха закрыл. А ведро с бензином на боку, из него огонь льется — искра от сварки туда попала. В гараже все бензином пропахло, дак огонь аж пляшет по воздуху!

Первая мысль была: баллоны с газом взорвутся! Кислород, шутка ли! Камня на камне не оставит. А под баллоны уж огненная река подтекла. Я беру баллон под донышко. Сгоряча — голой рукой беру, а другой рукой его за головку — да на плечо кинул. Выбежал, баллон в траву бросил, вбегаю обратно в гараж. «Бери огнегаситель! — парню кричу. — Где он у вас тут?! А парень побелел, в угол кажет. Глянул я — батюшки! — в углу генератор карбидный стоит. Ведь генератор тоже может вспыхнуть — упаси боже, как! Хватаю генератор, тяну. Тут и рабочие набежали. Гараж тушат, меня тушат... А генератор да баллоны на травке лежат по ним синенький огонек перебегает. Поливают их для охлаждения водой.

...Материального ущерба совхозу от пожара не было. Только вот с ученым-языковедом Марией Ивановной Муллонен не довелось познакомиться: в больнице лежал, когда она приезжала, — руки обгорели. А жаль: Мария Ивановна наш вепсский язык изучает, фольклор вот тоже... В Петрозаводске буду, зайду в институт. Они с Зайцевой — тоже Марией Ивановной — хорошую книжку о вепсском языке написали. Не читал?

Утро — звонкое и ясное.

Электрогазосварщик Рюрик Петрович Лонин идет по родному селу. На работу идет.

В синем халате он был похож на научного сотрудника музея, в ярком сценическом костюме — на артиста. В своем рабочем комбинезоне коммунист Рюрик Лонин напоминал мне легендарного Велля, создателя рукотворного огня, кантеле и вепсского языка, на тех своих предков, которыми восхищались заморские путешественники — на людей с горячей кровью, пылким сердцем, гордых охотников и землепроходцев.

И мне вспомнилось, как Рюрик говорил, шагая:

— В Петрозаводске, в Ленинграде выступаем: нас спрашивают:

— Кто вы?

Отвечаем весело и гордо:

— Мы — вепсы.

## Содержание

От автора . . . . .	5
С к а з а н и я . . . . .	9
Слово о Варде и Айре . . . . .	10
Вель . . . . .	12
Рождение деревянного огня . . . . .	14
«Я видел их...» . . . . .	16
Б ы в а л ь щ и н а . . . . .	23
Пожня Руданга . . . . .	24
Первое слово . . . . .	26
Мы — Пустошкины . . . . .	27
Великая Тора . . . . .	30
О х о т н и ч ь и п р е м у д р о с т и . . . . .	35
«Медвежья болезнь» . . . . .	37
Охотник Андрей . . . . .	38
Охотничьи премудрости . . . . .	43
Мера Ондреевой силы . . . . .	44
В е п с с к и е н а п е в ы . . . . .	45
Габ и Элли . . . . .	48
Пала росынька... . . . .	60
В б у р л а к а х . . . . .	63
М ы — в е п с ы ! . . . . .	69



**Пулькин В.**

**П 88** Вепские напевы. Этнограф. новеллы. Оформление и рис. авт. Петрозаводск, «Карелия», 1973.

80 с. с ил.

Краеведческий очерк, навеянный мотивами народного творчества вепсов—одной из маленьких народностей, населяющих территорию Карельской АССР.

П  $\frac{0284 - 078}{M127(03) - 73} 73 - 73$

**С(Карел.)**

**Виктор Иванович Пулькин**

**ВЕПССКИЕ НАПЕВЫ**

Редактор Г. Е. П я л л и н е н  
Художественный редактор Л. Н. Д е г т я р е в  
Технический редактор Г. А. К а л и н о в а  
Корректор Л. Ф. С у х а н о в а

Сдано в набор 25/V 1973 г. Подписано к печати 10 IX 1973 г.  
Е-02867. Бумага 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. № 1 3,5 усл. печ. л., 3,05  
уч.-изд. л. Изд. № 96. Тираж 2000. Заказ 2500. Цена 11 коп  
Издательство «Карелия». Петрозаводск, пл. им. В. И. Ле-  
нина, 1. Типография им. Анохина Управления по де-  
лам издательств, полиграфии и книжной торговли  
Совета Министров Карельской АССР. Петрозаводск,  
ул. «Правды», 4.